Кирилл Хенкин • Охотник вверх нотами

Кирилл Хенкин

Охотник вверх нотами

12 руб.

Кирилл Хенкин

Охотник вверх нотами

МОСКВА
«ТЕРРА» – «TERRA»
1991

ББК 67.99(2) 116.2
Х 38

Хенкин Кирилл
Х 38 Охотник вверх ногами. - М.: ТЕРРА, 1991. - 320 с.

ISBN 5-85255-056-6

Х 1305040000 - 048 без объявл. ББК 67.99(2) 116.2
А30(03) - 91

© Possev–Verlag, V8 Yorachek K.Y., 1980
ISBN 5-85255-056-6 © Оформление, Издательский центр ТЕРРА, 1991

ЭФФЕКТ СИСТЕМНОСТИ

Самые глубокие тайны общественной жизни лежат на поверхности. Надо быть совершенно слепым или очень сильно хотеть быть таким, чтобы не видеть генеральную установку Советского Союза в отношении Запада: любыми путями проникать в страны Запада, использовать Запад в своих интересах, разобщать его, провоцировать нестабильность, деморализовать, обманывать, путать, запугивать, короче говоря – готовить его к будущему военному разгрому. Эту установку проводит в жизнь огромная армия людей, организованных в единую систему. Каждый член этой армии живет обычной жизнью и выполняет свою рутинную работу, установка же реализуется лишь как суммарный продукт их деятельности, предопределенный законами системы. В книге К.Хенкина описан лишь один эпизод в деятельности этой системы, но эпизод характерный с точки зрения принципов функционирования системы. Этот эпизод связан с именем Абеля, который в свое время был в западной прессе возведен в ранг „величайших шпионов века". Я не берусь судить о том, насколько точно и полно описаны в книге исторические факты и их причинно-следственные отношения. Но с точки зрения понимания общей социально-психологической обстановки, в которой действует упомянутая система, и самого эффекта ее действия именно как единой системы, книга Хенкина заслуживает самого серьезного внимания.

Советская система по использованию и ослабле-

нию Запада сложилась, само собой разумеется, с расчетом на то, что ей предстоит действовать именно в условиях Запада. Она не была сначала изобретена некими гениальными умами в недрах Москвы и лишь затем применена в странах Запада. Она складывалась в реальных общениях стран, в том числе – путем отыскания слабых мест в западном обществе. Она набирала силу в той мере, в какой Запад обнаруживал слабости. Ее сила потому оказалась адекватной слабости Запада, а ее качества оказались своеобразным отображением свойств западного общества. Она явилась продуктом самого Запада не в меньшей мере, чем Советского Союза. Может быть отчасти поэтому Запад до сих пор не хочет понять ее сути, ибо не хочет узреть в ней свое собственное лицо. Внутри же своего социального тела, т. е. советского общества, рассматриваемая система набрала такую силу, что теперь ее практически невозможно отделить не только от центрального руководства, но и от общества в целом. Она стала неотъемлемым атрибутом советского общества и психологии советского человека – вот другая причина ее непостижимости для западных людей, представляющих себе явления такого рода в виде деловой конторы западного образца. Советских эмигрантов на Западе часто спрашивают, например, каков процент агентов КГБ в нынешней эмиграции. Вопрос с точки зрения советского человека нелепый. Возможно, ноль процентов, а возможно и все сто. Какое это имеет значение?! Общими усилиями заинтересованных лиц Запада и из эмигрантов придумали некую величину процента (кажется, около десяти), которая столь же нелепа, как и лю-

бая другая произвольная величина. Положение человека в данном случае с точки зрения его причастности к КГБ зависит от намерений рассматриваемой здесь системы и от случая, а не от намерений и самомнения этого человека. Даже критики советского режима, высылаемые на Запад, так или иначе фигурируют в расчетах этой системы и както используются ею, часто вообще не подозревая об этом. То, что на Западе воспринимается как шпиономания советской эмиграции, на самом деле выражает лишь здоровую интуицию советских людей в отношении своего общества.

В сочинениях на шпионские темы ход мыслей обычно имеет такое направление: ставятся частные вопросы, связанные с темой, на них даются обоснованные (по идее) ответы, в итоге дается какое-то решение проблемы в целом. В книге Хенкина все сделано наоборот: даются ответы, на основе которых возникают вопросы, и в итоге созревает большая проблема, которая по идее должна была бы фигурировать в самом начале. Рассмотрены многочисленные факты, проделаны хитроумные сопоставления и рассуждения. А итог их – проблема: что все-таки делал Абель в США, в чем смысл его такого странного поведения перед „провалом", какова цель такого театрально-„героического" его поведения во время судебного процесса? Думаю, что такой итог вполне логичен. Книга эта – не о советском шпионаже на Западе как таковом, а о действии общей советской установки в отношении Запада на материале, связанном со шпионажем, но не сводящемся только к нему. Случай Абеля интересен не столько с приключенческо-детективной, сколько с социологической точки зре-

ния. Приключенческо-детективный аспект этого случая по меньшей мере посредственен. Интерес же социологического аспекта достигает здесь силы увлекательного детектива. Пытаться понять случаи такого рода в привычных мыслительных штампах шпионских фильмов и романов невозможно в принципе. Что делал Абель в США? Что угодно, а возможно и ничего, что означает то же самое. Какова была роль Абеля? Возможно – ничтожна, возможно – огромна. И опять-таки нет существенной разницы в этих крайностях. Действия человека как элемента системы суть нечто качественно иное, чем действия человека самого по себе. К тому же Абель был не только элементом действующей системы, он был одновременно орудием и объектом действия системы, – вот что особенно важно в случаях системного эффекта. Тут в принципе любой человек может быть использован системой любым подходящим для нее способом, причем все связанное с ним может быть легко переинтерпретировано задним числом, а все будущее может быть заменено событиями, ничего общего не имеющими с первоначальными замыслами. Замыслов вообще может не быть, – они могут изобретаться постфактум. Здесь нет отходов и потерь, здесь все идет в пищу всепоглощающей системы. Истина здесь не затвердевает в форме, удобной для отчетов и детективных историй. Она просто испаряется, оставляя после себя лишь недоумение.

И еще несколько слов об одном важном эффекте системности. В деятельности людей как элементов системы нет никакой романтики, никакого героизма, никакого выдающегося интеллекта. Есть

всепобеждающая серость и унылость системы, принимающая яркие персонифицированные краски лишь в склонном к сенсациям сознании Запада, да иногда в советских пропагандистских книжках и фильмах. Заурядность в каждом звене и шаге. И поразительный устрашающий эффект в целом. Тут имеет место нечто подобное татаро-монгольскому нашествию. Каждый член татаро-монгольских орд по отдельности был ничтожен, каждая операция этих орд по отдельности не была отмечена признаком военного таланта, а в совокупности татаро-монгольское нашествие нанесло такой удар по человечеству, который не забудется вовек. Речь ведь идет не о созидании, а об эксплуатации созданного другими и о разрушении.

Есть в истории Абеля один человеческий момент. Он был лично человек незаурядный, и потому он никогда не был полностью акцептирован своей системой и никогда не чувствовал себя в ней полностью своим. Может быть по этой причине он не был вознагражден адекватно своему „подвигу". Хотелось бы остановиться на этом, но тут же выползает ядовитый и беспощадный вопрос: а что, если награда была адеквативна его реальной роли?! Не стоит напрасно ломать голову в поисках ответов по принципу „да-нет", „так-не так". Их просто нет. Система рушит все четкие разграничительные линии и здравые критерии оценок. Она заинтересована в бесформенности, расплывчатости, многосмысленности. Она может возвеличить ничтожество и низвести до уровня ничтожества выдающуюся личность, может придать статус эпохальности мелкому событию и обойти молчанием действительно эпохальные события. Она легко при-

дает вид добродетели тому злу, какое она источает сама, и вид зла всякой добродетели, стоящей на ее пути. Ибо она есть сила разрушающая. И мелькнувшее было сочувствие к несчастному в конце жизненного пути Абелю тут же гасится мыслью о его принадлежности к этой системе. Книга Хенкина является, насколько мне известно, первой серьезной попыткой изобразить феномены мирной советской экспансии на Запад именно как явления жизнедеятельности социальной системы такого рода.

А. Зиновьев

1. Я НЕ ЗАБЫЛ МОЕГО ДРУГА АБЕЛЯ, НО И МНЕ ЕГО НЕ ЗАБЫВАЮТ

Осип Мандельштам любил повторять фразу Велемира Хлебникова: „Участок – великая вещь. Это место встречи меня и государства".

В начале 1974 года в Вашингтоне у меня была встреча с сотрудниками русского отдела Государственного департамента. Беседа подходила к концу, когда чиновник, старший годами и положением, обронил, словно невзначай:

– Не расскажете ли вы нам о полковнике Абеле?

Перед тем, от имени недавно оставленных в Москве друзей, я около двух часов говорил о судьбе советских евреев. Вопрос не имел никакого отношения к нашей беседе.

– Человек, известный в вашей стране под именем полковника Абеля, – сказал я, – был моим другом в течение тридцати лет...

*

Я вспоминал, проверял факты, много прочел и исписал изрядное количество страниц. И понял, что не сумею рассказать о „полковнике Абеле", не говоря попутно о себе и о моем уходящем поколении. А получилась не биография моего друга и не автобиография, а записи по поводу его жизни. И моей.

*

– Вы были членом профсоюза?

– Разумеется. В Советском Союзе всякий работающий автоматически принадлежит к профсоюзу.

Беседа проходит в генеральном консульстве США во Франкфурте-на-Майне, куда меня вызвали („обязательно с женой") для собеседования по поводу иммиграционной визы.

Благословляю американские порядки и строй, не дающие вице-консулу возможности, при явном желании, применить ко мне „строжайше запрещенные партией методы следствия".

Допрос – иначе не назовешь – ведут двое: юный вице-консул и некто постарше.

– Вы воевали в Испании?

– Разумеется.

– Вы пытались это скрыть!

– Я этого никогда не скрывал.

(Что греха таить, я даже всегда втихомолку гордился моим испанским прошлым и скромно им хвастался.)

– В Москве вы жили по адресу...

Начинаются муки произношения. Я прихожу на помощь:

– Ко-тель-ническая набережная. Дом один-дробь-пятнадцать, корпус „В", шестой подъезд, второй этаж, квартира 78, телефон 227-47-89, пока его мне не отключили.

– Нам известно, что в этом доме жили также довольно известные люди.

(Да, в моем подъезде была квартира Паустовского, в пятом жил Вознесенский, в девятом – Твардовский, и Фаина Георгиевна Раневская, пока

не переехала на Фрунзенскую набережную. Жили в этом доме Евтушенко, Зыкина, Уланова, Патоличев...)

– Нам известно, что в Советском Союзе квартиры распределяются соответственно степени преданности режиму. Следовательно...

(Разве расскажешь, как, бездомный, написал челобитную Маленкову в первые две недели его царствования. Добрые люди посоветовали: пишите скорее, первые просьбы дойдут и будут услышаны. Всего этого не объяснишь.)

– Почему вы скрыли в анкетах, что воевали в Испании? Если бы не сигнал из Вашингтона...

(Был уверен, что написал. Вернувшись домой, проверил фотокопии всех поданных анкет. И оказалось, что там нет ни одного вопроса, на который я должен был ответить, что сорок лет назад участвовал в гражданской войне против Франко.)

– Вы как-то говорили, что в молодости были коммунистом. Сегодня вы сказали, что сочувствовали коммунистам. Это – разные вещи.

– Скажем, я настолько сочувствовал, что поехал воевать.

(Вспоминаю, что в те годы твердо считал себя коммунистом. Начальство в этом сомневалось. И было, вероятно, право.)

– Значит, в Москве вы жили на...

Опять нечленораздельные звуки.

– Да, я уже говорил: Котельническая набережная, высотный дом.

Снова канитель о жильцах этого дома и что, следовательно...

(Рассказать ему, что ли, как мой пес Миня оттрепал во дворе черного пуделя Евтушенко по кличке

Соломон? Начался скандал. Жена сказала, что Миня воспитан на Мандельштаме и что назвать собаку „Соломон" – антисемитизм.

Евтушенко капитулировал, начал извиняться, объяснять, что пса назвал в честь американского импрессарио Соломона Юрока.

Смешно – когда-то, в другой жизни, Юрок был импрессарио моего отца.)

– Нам известно, что когда вы работали в Праге, в журнале „Проблемы мира и социализма", у вас был дипломатический паспорт. Это большая привилегия...

– У меня был общегражданский паспорт!

– То есть паспорт, дающий особые привилегии?

– Да нет! Как раз наоборот!

– Как вы сказали? Обще...

Перевожу. По его просьбе пишу латинскими буквами „общегражданский".

(Неужели ему нужен образец моего почерка? Или он впрямь думает, что я разъезжал с дипломатическим паспортом? Впрочем, думай он так, то возился бы со мной, как с писаной торбой!)

Вице-консул идет с козырного туза:

– Когда вы ездили в 1974 году в Соединенные Штаты, вы подписывали вот такую бумагу?

Читаю: „Настоящим подтверждаю, что не намерен искать в США работу и зарабатывать там деньги, что я никогда не принадлежал к коммунистической партии или организации, ей подчиненной".

– Не помню, по-моему, я такой бумажки не подписывал.

– Тогда кто-то совершил серьезную ошибку. Факт, однако, остается фактом: вы принадлежали к профсоюзу. А профсоюз...

(Знаю, „профсоюз – школа коммунизма". Но объяснять милому юноше, что принадлежность к советскому профсоюзу не обязательно отражает политические убеждения?..)

Вступает старший „следователь":

– Вы, однако, были членом Союза журналистов СССР. Что побудило вас туда вступить?

(Не что, а кто! Побудил меня Юра Козловский, наш сотрудник, уполномоченный создаваемого тогда Союза по Радиокомитету. В 1958 году сколачивали империю, набирали поскорее да побольше. Вступил, платил членские взносы. Иногда ходил в ресторан Дома журналистов. Что еще? А ничего!)

– А Союз журналистов, как известно, находится под контролем ЦК русской партии.

– А что не находится?

Все задаваемые мне вопросы имеют одну цель: подтвердить, что, пользуясь в Советском Союзе особыми привилегиями, будучи особенно верным и ценным слугой режима, я пытался это скрыть.

И тщетны мои попытки объяснить, что „не был, не состоял, не участвовал"!

Чуть заметная пауза. Старший рассеянно смотрит в окно. Юнец шуршит бумажками, говорит, не поднимая головы:

– Когда вы работали в Институте иностранных языков Красной Армии, там среди ваших сослуживцев был также полковник Абель!

Наконец-то вы задали вопрос, ради которого приглашали меня сюда!

(От Нюрнберга в нескольких местах чинили дорогу, надо было гнать, чтобы не опоздать. Я не

люблю опаздывать. Приехали точно. Сообщили о приезде секретарше.

Дверь кабинета, куда нам предстояло пройти, часто приоткрывалась, оттуда выглядывал юный вице-консул. Мимо нас несколько раз прошмыгивал какой-то пожилой чиновник с папкой под мышкой. Подходил, наблюдал меня с короткой дистанции.

Мы ждали тридцать четыре минуты! Не тридцать пять, я следил по часам и загадал: ровно в тридцать пять минут – уезжаем. А перед этим я говорю секретарше, что господин вице-консул может мое необдуманно поданное заявление засунуть... да, именно туда!

Я уже встал, набрал воздух и двинулся к секретарше, когда раскрылась дверь кабинета и юнец предложил мне пройти. И я прошел. Но тон беседы долго еще держался на том, для ругани набранном, вдохе.)

При упоминании имени Вилли я немного размяк:

– Полковник Абель, как его называли в Штатах, никогда не работал в военном Институте иностранных языков. Но он был моим другом тридцать лет.

– Значит, можно сказать, что вас с ним связывало многолетнее сотрудничество?

– Нет, я этого не говорил.

– Тогда как же вы определите свои с ним отношения: как рабочие или как светские?

(При слове „светские" я вспоминаю Вилли, хлюпающего в резиновых сапогах по дачным лужам, приступы эпилепсии его спаньеля Бишки, охоту на крысу, хитроумные устройства в убогом его сортире...)

– Наши отношения были чисто дружеские.

– И соседские. Вы ведь жили с ним в одном доме.

Мелькает мысль: о том, что во время войны я жил у Вилли, я никогда никому не говорил. Да, но там, в деле на Лубянке, это наверно записано.

– Полковник Абель никогда не жил в моем доме!

После каких-то ничего не значащих вопросов:

– Вы приезжали в Штаты под чужим именем? У нас имеются сведения, что вы приезжали в Штаты под именем Бейт-Бродецкий.

Наживаю себе врагов: объясняю, что Бейт-Бродецкий – название ульпана в Тель-Авиве, где только что приехавшие из Советского Союза люди с высшим образованием изучают иврит, привыкая к жаре и кошерной пище. Врагов – потому, что поверить мне – значит признать, что над ними кто-то посмеялся.

Мне уже ясно, что в папках, куда оба чиновника время от времени заглядывают, – не просто справки обо мне, а систематически фальсифицированная история моей жизни.

Высотный дом на Котельнической увязан с Союзом журналистов, из работы в Праге извлечен дипломатический паспорт. Я превращен в многолетнего сотрудника и сослуживца Вилли. Мы вместе готовили шпионов. Отсюда вывод: я приезжал в Штаты под именем Бейт-Бродецкий!

Теперь, чтобы удостоиться иммиграционной визы, я должен доказать, что Союз журналистов – не КПСС, что у меня не было дипломатического паспорта, что мне не подавали служебную „Чайку".

Где я получу обо всем этом справки? Какой ЖЭК мне их заверит?

— Скажите, — говорит пожилой (он не так, как молодой, клокочет от разоблачительного рвения), — припомните: нет ли у вас врагов в США?

Он устало пожимает плечами, кивая на папку, которую держит в руке.

— Это мог сочинить и человек, которого я в глаза не видел. Или кто-нибудь, кого я считаю своим приятелем.

— Вам ничего не говорит фамилия... ?

То, что он произносит, можно истолковать как угодно. Расчет прост: я начну гадать, назову какую-нибудь фамилию, и начнется: а кто, а откуда вы его знаете, а почему вы думаете?..

— Мне это имя ничего не говорит.

— Подумайте, кто ваш враг в США?

— Все мои враги в Москве или в Мюнхене!

— Кто, — вцепляется молодой, — назовите имена!

— У вас нет чувства юмора. У меня вообще нет и не может быть врагов. Меня все любят.

*

Примерно в то время, когда я был в Вашингтоне и беседовал с сотрудниками русского отдела Государственного департамента, мне с оказией пришло письмо из Москвы. Одно — от живущего ныне в Израиле Александра Гольдфарба, второе — от проживающего в США Владимира Козловского.

Алик Гольдфарб писал: „Нас считают более или менее вашими преемниками, но ваша поездка по Соединенным Штатам была настолько успешна,

что по дошедшим до нас сведениям те, кто отвечает за выдачу вам разрешения на выезд, получили взыскание".

„Как пишет Алик, – добавлял Володя Козловский, – нам стало известно из надежных источников, что в КГБ очень недовольны тем, что вы делали в США, и чиновники, ответственные за выдачу вам злополучной выездной визы, получили за такой просчет сильную головомойку. Боюсь, что теперь они будут стараться быть сверхбдительными!"

Бдительность, как известно, не знает границ. Если прошляпили на выезде из СССР, пусть хотя бы не получу иммиграционную визу в США. Впрочем – правильно. Нечего мне там делать! Побывал – хватит.

*

– Отец, – сказал мне молодой коллега, в недавнем прошлом капитан государственной безопасности, – отец: не надо драматизировать! Для того, чтобы вас совсем ухлопать, надо подпись аж самого Главного. Да и тот будет согласовывать с ЦК. А нагадить, отец, это они могут вам где угодно! Это уж вы мне поверьте!

Я терпеть не могу встречаться с государством.

2. АБЕЛЬ ПРОВЕРЯЛ „ШВЕДА"

Человека, которого арестовали и осудили в 1957 году в Соединенных Штатах под именем Рудольфа Ивановича Абеля, звали Вильям Генрихович Фишер.

Настоящий Рудольф Иванович Абель, тоже офицер КГБ, умер в 1957 году в Москве и похоронен на Немецком кладбище.

Друзья и близкие называли моего друга Вилли. Так буду называть его и я.

Мы подружились с ним в годы войны, потом долгое время не виделись, а затем снова дружили – до самой его смерти в 1971 году. Вилли мало говорил о своей работе, и выводы, к которым я пришел относительно его миссии в Соединенных Штатах – это результаты моих наблюдений, внимательного прочтения опубликованных материалов, умозаключений, подкрепленных отдельными его замечаниями. Или молчанием.

*

Вспоминая то утро в Нью-Йорке, когда агенты ФБР ворвались к нему в номер гостиницы со словами: „Полковник, мы знаем о вашей шпионской деятельности!", Вилли сказал своему защитнику Донована, что к такой минуте разведчик готовится всю жизнь. Насколько Вилли был готов, Донован, однако, не знал. И я понял не сразу.

*

Это было вскоре после возвращения Вилли в Москву, в его крохотной, темной, и на редкость, даже по московским стандартам, противной квартирке на проспекте Мира. Когда жена, Елена Степановна, вышла на кухню, я спросил:

– Почему при аресте вы назвались именем Абеля?

– Во-первых, потому, что биографию Рудольфа я знал, как свою, во-вторых, потому, что я таким образом давал сигнал в Центр, и, наконец, потому, что я проверял Шведа.

„Швед", он же Никольский, он же Александр Орлов.

*

... Когда началась гражданская война в Испании, я жил в Париже, учился в университете и считал себя коммунистом. Как многие другие, я рванулся ехать воевать против фашизма. На вербовочном пункте, устроенном французской компартией в доме Профсоюза металлистов на улице Матюрен Моро, 7, со мной не стали даже разговаривать, как только узнали, что я советский гражданин. Выехав из СССР в 1923 году и давно живя на эмигрантском положении, наша семья не сменила советские паспорта. И вот теперь я из-за этого не мог попасть на фронт, мог оказаться „за бортом истории"!

Я заметался. Через знакомого русско-датского анархиста Бронстэда (о его сотрудничестве с советской разведкой я узнаю позже, уже в Барселоне) я связался с Волиным. Тот меня принял радушно, обещал переправить в Испанию через своих французских друзей-анархистов, велел зайти через три дня.

Но уже на следующее утро к нам прибежал наш хороший друг – Сергей Эфрон, муж поэтессы Марины Цветаевой.

– Кирилл сошел с ума! – закричал он с порога. – Зачем он связался с анархистами? Если он непременно хочет ехать, я, так и быть, ему это устрою.

И устроил. Когда я вернулся на улицу Матюрен

Моро, те же люди без лишних разговоров включили меня в первую группу на отправку. Кроме того, Сергей Яковлевич сказал мне, что воевать в окопах может всякий, мне же предстоит делать что-то „интересное". Только границу перейти следует со всеми.

Что это будет за „интересная" работа, он не сказал. Мое дело – доехать до Валенсии, явиться в гостиницу „Метрополь", спросить товарища Орлова. Остальное – не моя забота.

*

Прошло сорок лет. Даже помни я хорошо город, я не узнал бы сегодня силуэт Валенсии. Я задумал: как только выберу ночлег, проверю по телефонной книге, поброжу по городу, поищу гостиницу „Метрополь". Почему бы ей не сохраниться? Я помнил: где-то рядом – вокзал и арена боя быков.

Это было, как во сне. Делая очередной круг по улицам с односторонним движением, я выехал на площадь. Слева высилась громада арены, за ней – вокзал. Справа восьмиэтажное здание и, вертикально, огромными буквами: „Отель Метрополь".

*

Приехав тогда из Барселоны в тамбуре переполненного вагона с выбитыми стеклами, пропитанный сажей, голодный и усталый, я оставил своих товарищей, вышел на привокзальную площадь и сразу – вот он, „Метрополь".

В стоявших у подъезда открытых машинах сидели загорелые блондины в военной форме, в вестибюле дежурили вооруженные охранники-сербы. За стойкой портье были, кроме служащих гостиницы, еще какие-то люди в штатском с колючими, одинаковыми во всем мире, глазами. Я точно помню, что стойка была слева от входа. Сегодня она справа от лифта, в глубине холла...

– Давно ли построен отель? – спросил я портье, предъявляя свой израильский паспорт.

– В 35-м году, сеньор, – ответил дежурный. – Это был тогда самый шикарный отель в городе. Я работаю здесь со дня его открытия.

– А во время войны?

– Во время войны, сеньор, тут было советское посольство. Тогда всю гостиницу занимали русские.

– Вы никого не помните из тех, кто здесь жил?

– Одну минутку, сеньор!

У дежурного объявились срочные дела. Он исчез, и я больше его не видел.

*

... Грязный, небритый и голодный, я пересек тогда площадь, вошел в гостиницу и сказал дежурному, что мне нужно видеть товарища Орлова. После некоторого ожидания меня проводили. Если не ошибаюсь, на седьмой этаж...

*

А теперь я взял ключ у портье и в сопровождении помощника швейцара, тащившего мой чемодан, поднялся на пятый этаж в комнату 514. Гостиница,

бывшая или казавшаяся мне сорок лет назад шикарной, стала, несмотря на свои три звезды, довольно убогой и обшарпанной.

Оставшись один, я поднялся двумя этажами выше.

Позже мне приходилось читать, что Орлов, главный представитель НКВД в Испании, контролировавший и разведку, и контрразведку, и партизанские отряды, в которых я позже служил, и влиявший на все политические решения, был высокого роста. Возможно. Мне, кроме нашей первой встречи в „Метрополе", пришлось видеть его всего один раз мельком в Барселоне. Но я запомнил лишь, как вскочили и вытянулись тогда все в комнате. Это было незадолго до его бегства в Канаду, а оттуда в США.

*

... Войдя в комнату, Орлов сел на довольно значительном от меня расстоянии. Меня поразила его ухоженность. Только что душ, только что бритье с одеколоном... Он был одет по-утреннему: в серых фланелевых брюках, в шелковой рубашке без галстука. На поясе – открытая замшевая кобура с пистолетом Вальтер калибр 7,65.

Мне повезло. Выслушав мои путаные объяснения: кто я, зачем, от кого, откуда приехал (его, разумеется, никто ни о чем не предупредил) и почему пришел именно к нему, он не приказал охране меня пристрелить. Для порядка. Такое бывало.

Мне повезло, что никто меня не ждал, и на „интересную работу" я попал позже; а до этого, пройдя через Альбасете – базу формирования интербригад

и службу в одной из них, – я успел узнать, как воевали в Испании.

Но в то утро я обо всем этом не думал. Я был зачарован и парализован зрелищем завтрака, который у меня под носом вкушал Орлов.

Лакей в белой куртке вкатил столик, снял салфетку и удалился. Орлов намазал маслом горячий тост, откусил уголок, принялся за яичницу с ветчиной, иногда отхлебывая кофе. К сливкам он не прикоснулся. Он не был, видимо, особенно голоден. Слушал он рассеянно, иногда задавая вопросы, которые должны были меня запутать, сбить. Но в основном – почти не прерывал.

Я же старался не пялиться на еду, не показать, что я голоден, не потерять лицо. Я не ел больше суток.

Подтерев остаток желтка кусочком круасана и отпив последний глоток кофе, Орлов отодвинул столик, на котором оставались еще булочка, масло, кувшинчик со сливками и полкувшинчика кофе, достал пачку „Лакки Страйк" (я навсегда запомнил эту – в те годы зеленую – пачку с красно-белым кругом), вынул сигарету и закурил.

– Мы вам сообщим.

*

Уже во время второй мировой войны в Москве я более подробно узнал об обстоятельствах бегства Орлова.

Из Испании его вызвали во Францию для встречи с высоким начальством на борту парохода „Свирь" в порту Гавр. Орлов понял, что его вызывают не для встречи с наркомом Ежовым, а для

ареста. Орлов, который, приезжая в Москву, докладывал лично Сталину, пользовался редкой привилегией – он жил за границей с женой и дочерью. Они ждали его во Франции, в Перпиньяне. Он выехал на машине. После его отъезда обнаружили, что он по рассеянности взял с собой ключ от сейфа. В Париж, в советское посольство, была послана шифровка: как только приедет Орлов, пусть пришлет ключ с нарочным обратно! Орлов в посольстве не объявился и бесследно пропал. Сейф вскрыли. Там не хватало тридцати тысяч долларов, – суммы по тем временам вполне солидной.

Зато там было письмо. В нем Орлов писал, что не хочет возвращаться в СССР и обрекать себя на смерть, а семью на мучения. Но в Москве оставалась его мать, и он ставил условие: пока ее не тронут, он не выдаст ни одной из известных ему тайн советской разведки.

Когда мне рассказали эту историю, с момента бегства Орлова прошло лет пять. А мать его продолжала жить в Москве на старой своей квартире, и никто ее не тревожил.

Но в 1957 году – мать Орлова давно умерла, и не было у беглеца заложников в Москве. Умер Сталин, изменился весь мир. Однако, когда в комнату гостиницы „Лэтэм" в Нью-Йорке ворвались рано утром люди со словами: „Полковник, нам все известно о вашей шпионской деятельности", – то мой друг Вилли Фишер, прикрывая одной рукой срам, потому что он был гол, а другой шаря по ночному столику в поисках очков и вставной челюсти, уже знал, что через несколько дней заявит агентам ФБР:

– Я полковник советской разведки Рудольф Иванович Абель.

Он знал, что ему *после ареста* предстояло проверять Шведа...

3. МОЙ УЧИТЕЛЬ ШПИОНСКИХ НАУК

– Познакомьтесь, – сказал начальник курсов радистов Женя Геништа, – товарищи Абель и Фишер.

Геништа и сам, вероятно, не знал, кто из них кто. Неразлучные товарищи, которых – как выяснилось потом – за глаза называли „Фишерабель" или „Абельфишер", были в штатских пальто, из-под которых выглядывали заправленные в сапоги галифе. Один был атлетического сложения блондин со слегка вьющейся шевелюрой, другой – сильно полысевший тощий брюнет с длинным, красноватым, постоянно шмыгающим носом.

Когда это было?

В ночь на восьмое ноября 1941 года я патрулировал с другим бойцом Отдельной мотострелковой бригады особого назначения НКВД СССР перед зданием Дома Союзов. Там мы квартировали.

Наутро наша бригада участвовала в историческом параде на Красной площади.

Согласно истории, участники парада прямо с площади отправлялись на фронт, проходивший по окраине города.

Отправлялись, однако, не все. Наша бригада никуда не делась. Ей предстояло, в случае чего, оборонять центр Москвы и, в частности, Кремль.

Вскоре после этого меня направили в школу радистов на улице Веснина, в двухэтажный деревян-

ный дом на углу улицы Луначарского, где позже была детская библиотека. Там, в школе, я слушал сообщение о нашем контрнаступлении под Москвой и новогоднее поздравление Михаила Калинина. Это уже получается январь.

Но то было задолго до окончания курсов. А пока я постиг премудрость работы на ключе, наступил февраль, не меньше.

Потом, после выпуска, был период „смотрин". Приехали разные деятели выбирать себе людей.

Для большинства выпускников, не знавших ни одного языка, кроме русского, вопрос решался просто. Они шли либо в партизаны, либо в опергруппы в оставляемых при отступлении городах. Все они быстро разъехались.

Мой случай был несколько особый. Не всякого можно без труда выдать за француза!

Кто возьмет меня? Хозяин школы — Четвертое управление? Или Первое?

В опустевшей школе стали мелькать странные люди. Несколько дней перед отправкой прожил у нас вместе с сыном голландский пастор Круит, человек лет шестидесяти.

Выданный еще до приземления в родной Голландии, он сразу попал в руки гестапо и погиб.

Однажды, когда в нашей опустевшей комнате на шестерых я читал, лежа на койке, в дверь заглянул неизвестный мне человек и сделал знак следовать за ним.

*

Среди типично еврейских лиц есть вариант, который я назвал бы „лошадино-верблюжий". Можно,

однако, отдаленно напоминать чертами лица арабского скакуна или гордый корабль пустыни и быть при этом красивым, как это было с Пастернаком. С Яковом Серебрянским такого не случилось.

В профиль его голова с огромной лысиной и патлами на затылке походила на щедро посыпанный перхотью гигантский боб. Умное выражение глаз скрадывалось ледяным и надменным равнодушием взгляда, а утолщенный на конце длинный нос уныло и неопределенно сворачивал напоследок куда-то в сторону.

Гимнастерка тонкого габардина подчеркивала щуплость груди и сутулую спину; заправленные в хромовые сапоги галифе не оставляли иллюзий относительно кривизны тоненьких ножек.

Нынешний израильский парашютист стал бы вам доказывать, вопреки очевидности, что Серебрянский – не еврей: таких не бывает! это карикатура, выдумка антисемитов.

Ясно было, что звание майора Государственной безопасности (их потом начали переаттестовывать на генералов) и многочисленные ордена, привинченные к его гимнастерке, Серебрянский заслужил не красотой и не военной выправкой.

Странное дело – я лишь один раз нашел его имя в вышедших за границей многочисленных книгах о КГБ. А ведь Рудольф Абель и Вилли Фишер называли его почтительно „старик" и считали своим учителем.

В чекистских кругах о Серебрянском ходили легенды. Он был также гордостью довоенного московского еврейства, живым доказательством того, что „без наших голов они все равно не мо-

гут", того, что для умного еврейского мальчика при советской власти все дороги открыты!

Если взять подшивку „Известий" за годы до последних предвоенных чисток, то там встретишь Указы о награждении Якова Серебрянского за „выдающиеся заслуги перед партией и правительством", за выполнение „особо важного правительственного задания".

Во время гражданской войны в Испании Серебрянский был одним из организаторов закупки и переправки оружия для республиканской армии.

Но это все ерунда. О настоящих заслугах Серебрянского, о причине его профессиональной, глухой, внутричекистской славы первым рассказал мне не Вилли, как ни странно, а Гриша Кулагин, молодой сотрудник „группы Серебрянского", в распоряжение которой я попал.

Когда судьба привела бывшего театрального осветителя Якова Серебрянского в ряды бесстрашных чекистов, он начал думать, как лучше послужить мировой революции, родной партии, правительству и лично товарищу Сталину.

Он быстро понял, что простое добывание военных секретов в заморских краях — дело трудоемкое и неблагодарное. Операцию разрабатывает и начинает один, продолжает другой, завершает третий, а награды получает четвертый, к делу отношения не имевший.

Одной из основных забот советской власти и лично товарища Сталина всегда было уничтожение сограждан, политически неугодных или ненужных. В этом плане Серебрянский ничего оригинального уже предложить не мог. Все придумали до него, дома мясорубка работала.

Но бессонные ночи вождя тревожила мысль об ускользающих от него злостных врагах, безнаказанно живущих за пределами родины всех трудящихся. Их уничтожения требовала большевистская совесть, требовала история!

А велениям истории перечить нельзя! Но надо еще, чтобы не было следов, чтобы не поймали. В частности, из чисто принципиальных соображений, поскольку большевики всегда были противниками индивидуального террора.

Вспомнив, что до работы театральным осветителем он был не то аптекарем, как Ягода, не то студентом-химиком, Серебрянский начал думать над химическими средствами борьбы за чистоту бессмертных идей Маркса-Ленина и лично товарища Сталина.

Сегодня уже не проследить хода его творческой мысли. Но в результате раздумий, а затем — прилежного труда собранной им группы специалистов, любовно составленной из арестованных по его заявкам химиков и фармацевтов, была разработана стройная и в то же время гибкая система.

Намеченный к ликвидации объект ставился под тщательное наблюдение. Внимательно изучались, в частности, самые безобидные лекарства, которые объект имел привычку принимать: снотворные, обезболивающие, слабительные и так далее. Подчас помогал кто-нибудь из ближайшего окружения — например, домашний врач.

Гениальность замысла заключалась в том, что взятые в отдельности, ингредиенты были безвредны. Лекарства как лекарства. Но наступал момент, когда дозировкой различных компонентов достигалось такое соотношение, что человек помирал от

очередной таблетки аспирина, безобидного снотворного, ложечки английской соли. Причем никакое вскрытие ничего не давало, ибо смертоносное сочетание быстро распадалось, не оставляя следов. Клеветники могли до хрипоты вопить об убийстве, о „руке Москвы". Собака лает, ветер носит!

Кулагин намекал, что так был убит сын Троцкого Седов. Не знаю – гебешники любят врать.

В начале 1939 года, вскоре после того как руководство НКВД перешло к Берия, Серебрянского арестовали. Особое Совещание приговорило его к „высшей мере".

Но Яшу Серебрянского не расстреляли. Как еще некоторых других крупных специалистов (писателя Романа Кима, например), его, содержа в камере смертников, изредка вызывали для консультаций по особенно важным и щекотливым вопросам. Ведь дозировки и схемы обработки различных клиентов он держал в уме.

Когда началась война, Серебрянского из камеры смертников вызвали, нарядили в старую форму, дали кабинет на Лубянке и велели составить себе группу. Из старых знакомых он взял к себе выгнанного перед войной из разведки Вилли Фишера и Рудольфа Абеля.

Серебрянский не был реабилитирован. Судимость с него не сняли. Он продолжал числиться заключенным, приведение в исполнение смертного приговора было лишь отсрочено.

Пока в разведке царил Берия, никто не смел заикнуться об изменении странного статуса Серебрянского.

После войны, когда начали гнать из разведки евреев, Серебрянского выгнали и посадили. После

смерти Сталина выпустили. Но когда расстреляли Берия, его снова арестовали как прихвостня казненного грузинского сатрапа. Тогда же посадили и осудили на большие сроки Эйтингона и Судоплатова. Серебрянский просидел несколько лет, вышел на волю больным стариком и вскоре умер.

Такова вкратце поучительная история бывшего театрального осветителя Якова Серебрянского.

Мой первый и последний с ним разговор не оставил у меня ощущения взаимной душевной теплоты.

Серебрянский хотел знать, как я отношусь к мысли о заброске в тыл к немцам. В очень глубокий тыл. Точнее, в Западную Европу. Еще точнее — во Францию.

К этой мысли я отнесся с подозрительным, возможно, энтузиазмом.

Есть ли у меня во Франции люди, на которых я могу положиться?

Серебрянский лениво слушал, не утруждая себя выражением внимания, не делая вида, что считает меня способным говорить что-либо, кроме ерунды.

Шаркая плоскими ступнями, он вышел, не попрощавшись, и уехал.

Но через несколько дней появились товарищи Абель и Фишер. Надо было продолжать учебу.

На квартиру моего будущего учителя (им оказался лысый, с вечным насморком, Вилли Фишер, а не атлетический Абель) меня отвез мотоциклист нашей бригады, бывший шуцбундовец Эрвин Кнаусмюллер. Мороз был лютый, снег в Москве не убирали, машина скользила на обледенелых сугробах.

Сидя в коляске, кое-как прикрываясь от ветра чемоданом, я коченел в своем демисезонном пальто.

После визита Серебрянского и товарищей „Фишерабеля" мне приказали сменить солдатскую форму на штатский костюм. Конспирация! Хотя в Москве военного времени человек моего возраста мог привлечь внимание именно штатским костюмом.

В дополнение к военному удостоверению вернули гражданский паспорт и выдали фальшивую справку о непригодности к службе в армии.

Питаться мне предстояло самостоятельно, получая продукты раз в две недели на общем складе, куда в одни и те же дни и часы являлись такие же, как я, будущие „нелегалы". Там происходили любопытные встречи. На всякий случай нам всем велели друг друга не узнавать и не запоминать. Тем более — не разговаривать!

На четвертом этаже дома во 2-м Лаврском переулке Фишеры занимали две комнаты в четырехкомнатной квартире, где жили еще две семьи. Но жена Елена Степановна и дочь Эвелина были в эвакуации в Куйбышеве. Сам Вилли спал в проходной комнате побольше. В комнате поменьше стояли две железные кровати. Одну занимал немец, парень лет тридцати, бывший боец 11-той интернациональной бригады в Испании.

— Добро пожаловать! Устраивайтесь, — сказал мне Вилли по-английски, жестом указывая на пустую постель.

Я принялся распаковывать чемодан. Вилли возился у себя в комнате. Я вошел туда в тот момент, когда он, нагнувшись, что-то задвигал под диван. Пиджак задрался, и я увидел, что брюки его, истлев-

шие от ветхости, просто распались на заду. Сквозь ткань виднелось белье. Я достал из чемодана пару брюк и протянул своему учителю. Он сначала не понял и смотрел на меня удивленно.

– Возьмите, у меня есть другие.

Первое мгновение Вилли был ошеломлен, но не стал ломаться, и, быстро сбросив свои лохмотья, надел обновку.

Вилли был гораздо выше меня, и мои брюки не доходили ему даже до щиколоток. Но было не до пижонства. Теперь он мог, переодеваясь в штатское, не бояться встать к людям спиной, не бояться нагнуться.

(Когда в 1955 году, тринадцать лет спустя, Вилли приедет в отпуск из Соединенных Штатов, он привезет мне в подарок серые брюки на молнии, фирмы Дак.)

Начались занятия.

С тех, проведенных у Вилли месяцев, у меня остался сувенир: томик рассказов английского юмориста Саки (Монро), которого Вилли очень ценил. Из любимого им автора он часто повторял фразу: „Никогда не будь застрельщиком. Самый свирепый лев всегда достается первому христианину".

Эта фраза определила уровень моего рвения.

Для начала Вилли решил научить меня собирать приемник. Дал мне необходимые детали, дощечку, на которой мне надо было все смонтировать, показал, что и как, и ушел.

Я тут же все перепутал, подключал не туда, все начинал сначала. И умирал от тоски.

Вечером, вернувшись со службы, Вилли объяснил мне мои ошибки и все сделал сам. Уверял меня при этом, что все, что один дурак может сделать,

сделает и другой! Но больше мы приемник не собирали.

Я начал работать на ключе. Это было привычное дело, и в назначенные часы я держал связь с другими учениками. Сеансы проходили по утрам, когда Вилли бывал в Управлении. Думаю, что иногда связь со мной держал он сам.

Так я совершенствовался в радиопремудрости. (Сегодня я даже не пытаюсь вспомнить основные принципы устройства радиоприемника и передатчика. Я запомнил слова: „контур" и „резонирующий контур", но уже не помню, что они значат. Много лет, как я перестал понимать сигналы Морзе.)

Быстро разделавшись с радиотехникой, напомнив мне лишний раз о мудрых словах Саки про первого христианина и свирепого льва, Вилли успокоил меня, сказав, что строить передатчик мне наверняка не придется.

Слова его упали на благодарную почву. И впрямь. Мне ли заниматься серой технической работой? Все свое внимание я сосредоточил на рассказах Вилли, которые должны были подготовить меня к оперативной работе за границей. Вилли рассказывал „случаи из жизни".

Прочитав уже после выезда на Запад „Учебник разведки и партизанской войны" Александра Орлова, я узнал многие истории, которые рассказывал мне в сорок втором году во 2-м Лаврском переулке в Москве Вилли Фишер. То есть в большинстве своем эти „случаи из жизни" были – отработанные и обезличенные „байки", которые до меня и после меня рассказывали поколениям студентов, обучая их шпионской премудрости.

Но были и рассказы подлинные. Например,

история, приключившаяся с одним из ветеранов советской заграничной службы Василием Зарубиным.

Живший за границей с семьей — женой и дочерью, — Зарубин должен был переехать в другую страну или нелегально перебраться в СССР — теперь уже не помню. Помню только, что маршрут проходил через третью страну, где на границе была пересадка на другой поезд.

Когда семейство Зарубиных ожидало поезда в зале первого класса, к ним бросилась какая-то женщина с криком: „Держите его, это советский шпион!" За женщиной поспешали таможенники и полицейские.

Вася Зарубин, много лет проработавший за границей, где он страдал от того, что из-за требований конспирации не мог отдавать достаточно времени любимому занятию — игре в теннис (считалось, что он слишком хорошо играет), похолодел. От скандала не спас бы и дипломатический паспорт, карьера могла навсегда погибнуть!

Но подбежавшие полицейские схватили женщину, а начальник таможни, запыхавшись, извинялся: „Ради Бога, извините, она сумасшедшая! На всех бросается!"

(Дочь Василия Зарубина, Зоя Васильевна, руководила до недавнего времени курсами переводчиков ООН в Москве. Часто выезжает за границу. В высоких гебешных чинах.)

*

Вернемся, однако, к поучительным „байкам", которые рассказывал мне Вилли Фишер, а иногда и

приходивший к нам выпить (если было что) и закусить (если было чем) Рудольф Абель.

Интересно подчас не сходство историй, а различие интонаций рассказа.

Возьмем для примера историю с „особыми приметами".

Орлов в „Учебнике" рассказывает, как один советский разведчик получил для переезда из Берлина в Москву португальский паспорт. Приехав домой и сдав документ, он узнал от людей, знавших португальский язык, что в рубрике „особые приметы" в паспорте значилось „однорукий".

У Вилли история звучала примерно так: „Один из очень руководящих товарищей придумал какую-то ревизию, чтобы прошвырнуться в Европу. До Берлина — с шиком: в международном вагоне с дипломатическим паспортом. Там остановился в отеле „Адлон". Все они там останавливались! Начальник этот распорядился, чтоб достали ему паспорт для дальнейшей поездки. Ему принесли. Турецкий. Вечером начальник улегся в постель, попивает коньяк, курит сигару и рассматривает документ. А турки в своих паспортах все пишут еще и по-французски. И вдруг в графе „особые приметы" видит — „одноногий".

Разница, как видите, только в деталях и в интонации. Но в ней весь Вилли и его отношение к начальству. Он любил говорить: „Начальство, оно — начальство. Но распускать его не следует!"

Другой пример: Орлов описывает различные способы переезда границы, которыми пользовались советские агенты. На странице 66 своего „Учебника" он пишет: „Советским разведчикам часто бывает нужно избежать пограничного контроля. Они поэто-

му пользуются автобусами, совершающими туристские поездки туда и обратно через границу без всяких формальностей. Так часто делается между Швейцарией, Австрией, Францией, Италией. Или между скандинавскими странами. Они также используют специальные железнодорожные билеты, позволяющие въехать в другую страну, не предъявляя паспорта".

А Вилли рассказывал иначе: „Когда я выехал за границу в первую командировку, то ехал по своему паспорту. Во Франции меня встретил Швед (Орлов) с двумя обратными билетами в Англию. По этим билетам мы туда и въехали".

Эту историю „Швед" не рассказал и позже, когда в 1957 году она могла бы заинтересовать многих в Соединенных Штатах.

Вообще похоже, что своих американских друзей Орлов радовал главным образом безобидными „байками".

Еще об отношении Вилли к руководству. Оно было, если можно так выразиться, отрицательным вдвойне. Во-первых, мой друг был фрондер и начальство не любил. Но со старым кое-как мирился. Это были люди, которые действительно учили его ремеслу, сами работали нелегально за границей. Но за последние годы руководящие кадры разведки сильно потрепала чистка, и начальники были, в большинстве, люди новые, занявшие места расстрелянных ветеранов.

Об этих уничтоженных Вилли и Рудольф стали вспоминать при мне не сразу. Но постепенно из них начало выпирать. Особенно, когда, достав водку, мы пили втроем до утра.

Вспоминали людей, вспоминали это последнее

страшное время. Мне почему-то запомнился рассказ Рудольфа (его в эти годы не выгнали, и он каждый день, умирая от страха, регулярно ходил на службу).

За несколько месяцев из кабинета, в котором их было пятеро, исчезли четверо. Одного из сослуживцев Рудольфа вызвали к начальству. Он больше никогда не вернулся. И долго на вешалке висела его форменная фуражка. Никто не решался снять. И никто, разумеется, не решался спросить, куда делся их товарищ. А на место исчезнувших пришли другие. Деревенские гогочущие хамы. Мои друзья называли их (из-за методов следствия — они занимались и этим) „молотобойцы".

„Мне повезло, я отделался легким испугом", — говорил Вилли. Выгнанный из разведки в конце 1938 года, он работал на заводе. Но все равно каждую ночь ждал ареста.

Рассказы Рудольфа Абеля, много лет проработавшего вместе с женой Асей на Дальнем Востоке, где он жил под видом русского эмигранта, во многом дополняли рассказы Вилли, который работал в Скандинавии и в Англии. Бывший балтийский матрос и красногвардеец, Абель не знал ни одного языка, кроме русского. Он был очень неглуп, но круг его интересов был узок. Рядом с ним Вилли был не человек, а живой „век Просвещения". Дружили они давно, так как начинали вместе работу в разведке. Одинаково оценивали людей. На первом месте у них стоял Серебрянский. Кое-как тянул Эйтингон. О Судоплатове, начальнике Четвертого управления, говорили с некоторым осуждением. Не любили вельможность, чрезмерную, по тем временам, роскошь жизни. Не понимали, как

можно в холодной и голодной военной Москве затеять отделку квартиры. А Судоплатов просто тянулся за более высоким начальством.

Ведь когда в разгар войны надо было построить новое здание для сугубо гражданского института, который возглавляла жена Маленкова, то с фронта сняли саперную дивизию и бросили на строительство. А Маленков был далеко не худшим в этом отношении. Щербаков позволял себе вещи помелочней и понаглей.

Мы часами болтали на кухне. Процесс готовки занимал уйму времени. Давление газа было очень слабое, и он начинал гореть более или менее ровно лишь поздно ночью, когда большинство измученных москвичей засыпало. Но и тогда, чтобы добиться ровного горения комфорки, надо было ритмично ударять ладонью по счетчику. Поэтому один стоял у счетчика и бил по нему ладонью, а второй в это время возился у плиты. Эту роль Вилли старался оставить за собой. Не потому, что бить ладонью по счетчику было утомительно, а потому, что готовящий пробовал приготовляемое блюдо и таким образом получал фактически большую порцию.

Время было голодное, нам все время хотелось есть, и Вилли забывал все на свете и не считался ни с какими обременительными предрассудками, когда дело касалось еды.

Мой паек мы делили честно пополам. Это было облегчено тем, что мне почему-то постоянно давали баранину и рис. Готовился плов, который легко делить. Делили также чай, сахар и прочие продукты.

Вилли же свой паек брал обедами на работе. Кроме того, Серебрянский иногда водил его с собой в генеральскую закрытую столовую в помещении ре-

сторана Арагви. Периодически в буфете на Лубянке давали какие-то внеплановые бутерброды. Вилли честно и подробно обо всем этом рассказывал, но никогда не принес домой ни крошки. Он, полагаю, честно верил, что был голоднее меня. Так, возможно, оно и было.

Вилли редко приходил с работы раньше двенадцати-часу ночи. А то и позже. Так было принято в те годы. Так жила и работала вся страна. Пока не ляжет спать Сталин, – а он ложился на рассвете, – ни один человек, которому мог позвонить Вождь, не смел заснуть. Те, кому могли позвонить эти люди, также бодрствовали. И так – по всей иерархической лестнице. Во время войны это еще объясняли тем, что ночью может что-нибудь случиться. Случалось, однако, и днем.

Сготовив поздний ужин, съев его, мы иногда подолгу не ложились спать, обсуждая все мировые проблемы.

Постепенно, вопреки конспирации, нашли общих знакомых и стали обсуждать их.

Тут я узнал, что одна моя парижская приятельница, о которой мне было известно, что она работает на советскую разведку и была в Союзе, училась у Вилли в разведшколе. Несколько пуританский Вилли был шокирован, что эта представительница знатной эмигрантской семьи не стеснялась совокупляться в душевой с одним из слушателей школы – французом.

Узнал я также, что радист так называемого Учебного батальона противовоздушной обороны, в котором я служил в Испании, австриец Курт, которого сменил приехавший уже при мне Липовка, был тоже

учеником Вилли. Его внезапно отозвали в Москву и расстреляли.

– Как троцкиста, – объяснил Вилли.

– А разве он был троцкист? – спросил я.

Вилли посмотрел на меня широко выпученными глазами и, сраженный такой глупостью, ничего не ответил.

4. „ГДЕ ТАК ВОЛЬНО ДЫШИТ ЧЕЛОВЕК..."

Февраль 1941 года. Владивосток. Отчаянный, после Калифорнии, холод. Издали похожие на орангутангов грузчики в ватниках, ушанках с опущенными ушами, свисающих до земли рукавицах.

Воняющая сортиром гостиница „Интурист". Назойливые незнакомцы, которых не смущает ни холодность, ни резкость. В поезде – люди, пьющие на завтрак водку стаканами. Постоянное чувство, что за тобой следят, неотступно – от трапа парохода и до перрона Ярославского вокзала в Москве.

Позже я узнал, что так оно и было.

*

Приехавший раньше в Россию мой сослуживец по Испании Николай Поздняков разыскал меня сразу. Он сокрушался вместе со мной по поводу расстрела Эфрона и ареста Ариадны Эфрон.

– Но ты пойми, ведь мы ничего не знаем. Мало ли что мог наделать Сергей!

Бывший „капитан Андрэ" был доволен своей жизнью в Горьком, куда его поселили вместе с его молодым испанским другом.

– У начальства ко мне совсем особенное отношение. Совсем особенное!

И хихикал, умиленный любовью к нему начальства, рассказывал, как разоблачил в Горьком румынского шпиона.

И даже из его рассказа было ясно, что человек этот никакой не шпион.

Позже я узнал, что именно Поздняков был изобретателем радикального способа борьбы с идейными противниками за границей. Жертву оглушали, клали в ванну с соляной кислотой. Через какое-то время все спускалось в канализацию. Никаких улик. Клеветники, которые вздумали бы утверждать, что Москва занимается политическими убийствами, были бы посрамлены.

Вызывавшая жалость полуслепота, болезненный вид, скелетная худоба, сходство с Ганди, приличное знание нескольких языков, в частности, латыни и греческого, общая культура – все это внушало доверие, располагало интеллигентов к откровенности. Поздняков был незаменимым и восторженным провокатором. Работал перед самой войной камерным агентом – наседкой – в лагере для интернированных иностранцев.

Под личиной давно обрусевшего (чтобы объяснить неполадки с произношением) француза „мосье Рэми" он втирался в доверие к настоящим французам, схваченным во время „освобождения" Прибалтики. Готовил их вербовку, которую завершал капитан государственной безопасности Кукин.

Позднякова так разбирало похвастать, что одного завербованного с его помощью человека он мне даже назвал.

Николай Поздняков! Отпрыск старой москов-

ской семьи, представитель просвещенного купечества, парижанин. В монографии Серова есть его портрет в юности.

*

Запад понимает полицейское государство как систему постоянного вмешательства властей в частную жизнь граждан. А те, мол, лишь пассивные жертвы назойливого надзора.

Но уже прозорливый Орвелл угадал, что кроме всевидящего экрана, важно добровольное доносительство. И что в нем весь ужас.

Если разговор двух друзей подслушан с помощью хитроумного устройства, полицейское государство еще не выполнило своей главной задачи. Зато, когда оба собеседника спешат наперегонки друг на друга донести, – воспитательная цель достигнута!

*

Жизнь моей великой родины раскрывалась передо мной через отдельную бригаду НКВД, Четвертое управление, учебу у Вилли.

На перекурах, во время учений, мой взводный Новохатько, только что бывший на практике в Риге, рассказывал:

– Установили за ним, гадом, наблюдение. А он так ловко законспирировался – ну, ничего! чисто! Из дому почти не выходит. А у нас из Москвы точная на него установка. Он у нас в списке. Велели брать, не дожидаясь ничего. Взяли. Засаду устроили. Старуху какую-то замели. Врала, что молочница. Обыск чуть ни сутки делали – полы снимали, стены

ломали. Так законспирировался, гад, – ничего не нашли... Отправили его, конечно, куда надо... Да, работка у нас не сахар.

– А кто он был?

– Да из этих, из филателистов. Это те, что, вроде, марки собирают. Знаем мы, как вы собираете марки...

*

В бригаде из двух полков полного состава был всего один племянник любимца советской публики, знаменитого комика, Народного артиста республики Владимира Яковлевича Хенкина.

Сказать, что в те годы мой дядька пользовался популярностью – это еще ровным счетом ничего не сказать.

То были годы, когда в театре и кино царил принцип: лучше меньше, да лучше. Ничтожное количество фильмов и пьес одних и тех же авторов ставила горстка режиссеров, играли одни и те же актеры. Все должно было быть апробированное, самое лучшее. „Заслуженное", „народное". В сборных эстрадных концертах мелькали одни и те же имена, исполняли один и тот же апробированный репертуар.

Мой дядька был одним из самых избранных. К тому же очень талантлив.

На улице за ним ходила толпа, и не было в России человека, за исключением, пожалуй, Сталина, к которому он не мог прийти в кабинет без приглашения. Заранее смеясь, секретарши проводили его прямо к вельможе. Впоследствии это спасло мне жизнь.

Но остаться бы мне простым полковым курь-

езом, не случись среди наших высших начальников Михаил Борисович Маклярский, наблюдавший до войны за миром искусств.

Маклярскому страшно льстило являться к своим высокопоставленным агентам в сопровождении племянника знаменитого Хенкина.

О том, кто этот элегантный молодой человек (обязательно в штатском), он доверительно шептал хозяевам, часто хорошим знакомым моего дяди. Но будучи осведомителями, они помалкивали.

Миша давал мне мелкие поручения: „Скажите Гущину (так звали его шофера), чтобы отвез вас (давался адрес). Скажите, что от Михаила Борисовича, возьмете пакет и привезете мне".

„Пакет" был обычно небольшой запиской, часто страничкой из ученической тетради.

Помню старушку, достающую „пакет" из-за образа с лампадой.

Помню в заваленной книгами и старыми газетами комнате небритого, укутанного в плед, седого и патлатого антропософа, уже отсидевшего за свои убеждения.

В октябре 1941 года Москву могли сдать. Для оперативных групп, которым предстояло остаться в столице, нужно было срочно готовить явочные квартиры, склады аппаратуры, оружия, боеприпасов, питания для раций, продуктов. Известные соседям явочные квартиры НКВД для этого не всегда подходили.

Маклярский послал меня что-нибудь подыскать, обращаясь лишь к людям, далеким от „органов", и порядочным, чтобы не предали и не обворовали.

Я сразу подумал об одной паре теософов. Муж, преподаватель математики, был другом моего по-

койного брата, жена – учительница химии. Нищие святые люди. Но как уговорить их пользоваться в известных пределах доверенными им продуктами? Эти бессребреники могли, чего доброго, умереть с голоду, охраняя наши консервы. Бежать из Москвы они не собирались, заранее принимая свою „карму".

Хитрить с ними я не смел. Пришел в форме, с маузером в деревянной кобуре, и сразу сказал, где служу и о чем прошу.

Они только замахали руками. Ничего не надо объяснять. У Великих Учителей сказано, что Гитлер – воплощение мирового зла! Они сделают все, что надо. Стали показывать, куда и как спрячут продукты...

Боже, как издевался надо мной Маклярский!

Эти милые московские интеллигенты, осведомители с большим стажем, тут же настрочили на меня донос: Хенкин приходил к ним с пораженческими разговорами, говорил о возможности сдачи Москвы!

Я позже говорил об этой истории с Вилли. Он сказал, что не надо преувеличивать. Насколько ему известно, далеко не все население занимается доносительством. Всего лишь процентов двадцать. Существуют к тому же обширные белые пятна в деревнях. Да и на заводах неполный охват. Благополучно только среди городской интеллигенции. Если четыре друга соберутся вечерком „расписать пульку" – то наутро будет пять доносов. Пятый от соседа, подслушавшего под дверью.

Допускаю, что Вилли преувеличивал. Но количество осведомителей было и впрямь неимоверно.

А сегодня, по сведениям знающих людей, аген-

тов среди городского населения всего лишь один процент. Причем, далеко не все из них дают сведения в КГБ. Есть еще агентура милиции, контрразведки и других ведомств. Ну разве не происходит либерализация общества!

В Москве, Ленинграде и других крупных городах процент агентуры, разумеется, по-прежнему высок. Из-за присутствия там коварных иностранцев.

5. БЕССМЕРТНЫЙ КНЯЗЬ ПОТЕМКИН-ТАВРИЧЕСКИЙ

В ту же зиму 1941/1942 года я узнал, что в Елабуге, куда она эвакуировалась с сыном Муром, повесилась Марина Ивановна Цветаева.

Повесилась... Дочь ее, Ариадна (Аля), с которой мы в детстве дружили, уже мыкалась в то время по лагерям и тюрьмам. Муж, Сергей Яковлевич Эфрон, направивший когда-то мою судьбу по извилистому руслу, которое привело меня в ученики к Вилли Фишеру, был уже расстрелян.

О Марине Цветаевой Надежда Яковлевна Мандельштам пишет:

„Одна из тех русских женщин, которые рвутся к подвигу и готовы омыть раны Дон Кихота, только почему-то всегда получается так, что в ту минуту, когда Дон Кихот истекает кровью, они поглощены чем-то другим и не замечают его ран".

„Марина, – пишет Надежда Яковлевна, – обладала душевной щедростью, которой нет равных". Фраза, правда, коварно начинается словами: „По всему, что Марина сказала о себе, видно..."

То есть – сама себя такой видела. Способны ли видеть реальность люди, картинно видящие себя?..

О жизни Цветаевой пишет Ивинская, многолетняя подруга Бориса Пастернака:

„Ужасающий, пожирающий все время и силы быт, постоянная болезненность и неустроенность мужа. Причем, отношения ее с эмиграцией все ухудшались".

Верно. Ухудшались. Многолетнее сотрудничество Сергея Яковлевича с КГБ (тогда ГПУ) мало для кого было тайной.

Знала ли Марина? Совсем не знать не могла, но как-то себе это объясняла, чтобы не тревожить совесть и не нарушать ростановское видение себя и мужа: бескорыстие, рыцарство, чувство чести.

Все в ней замечали „... неумение и нежелание бороться за свое благополучие". Скажу даже, что бытовым неустройством Марина Ивановна упивалась. Неуют и грязь в доме всегда были ошеломляющие.

При таком неистовом равнодушии к низменным житейским благам особенную ценность приобретают блага моральные, душевный комфорт. Чувство правоты и красота позы.

... Наша последняя встреча. Москва. Начало июня 1941 года, канун войны. Где-то около Чистых прудов. Не повернуться в странной треугольной комнатенке – окна без занавесок, слепящий солнечный свет, страшный цветаевский беспорядок...

Самого разговора не помню. Но хорошо помню его тональность. Непонятные мне взрывы раздражения у сына Мура. Не только на мать, но и на уже исчезнувшего, расстрелянного (хотя этого еще не знали) отца, на арестованную Алю. Невысказанный упрек. Я тогда решил: злоба на тех, кто привез его

в эту проклятую страну. Так оно, вообще говоря, и было. Но было и другое.

Я лучше понял настроение Мура, подружившись несколько лет спустя с одним его сверстником и соседом Эфронов по даче в Болшево. Там, после бегства из Франции, поселили рядом две русские эмигрантские семьи, участвовавшие в убийстве Игнация Порецкого (Рейса; партийная кличка – Людвиг).

– Удивительно, – сказал мне мой друг, – что их всех не пересажали раньше. Они только и делали, что с утра до ночи грызлись между собой.

Мур не мог простить, что ради этой грязной возни погубили его жизнь. Хотя шпионаж был, возможно, следствием, вторичным явлением. Средством вернуть Марину в Россию.

В книге „В плену времени" Ивинская пишет о встрече в 1935 году в Париже двух великих русских поэтов.

„Семья ее (Цветаевой), – пишет Ивинская, – была тогда на перепутье – ехать на родину – не ехать? Вот как отозвался на это сам Пастернак: „Цветаева спрашивала, что я думаю по этому поводу. У меня на этот счет не было определенного мнения. Я не знал, что ей посоветовать..."

„А ведь Пастернак, – добавляет Ивинская, – в обстановке массовых репрессий, последовавших за убийством Кирова, мог бы посоветовать Марине что-то более ясное и определенное".

Представим себе, однако, на мгновение, что Пастернак говорит Марине правду о том, что происходит в России, о миллионах репрессированных, об удушающей атмосфере, о невозможности для нее печататься...

Представим себе! И Париж гудит: „Пастернак отсоветовал Цветаевой ехать в Россию!" По возвращении у Пастернака могли быть неприятности. А героем Пастернак никогда не был.

Не ради Сергея Яковлевича, человека по-своему талантливого, но оставшегося до конца дней лишь „мужем Марины Цветаевой", возвращалась семья в Москву. Возвращалась ради встречи Марины Ивановны с русским читателем. Этой встречи семья добивалась любой ценой.

Цена оказалась высокой. Сначала, шпионя, вербуя, убивая, платил Сергей. И наконец доплатил головой. Шестнадцатью годами лагерей и ссылок заплатила дочь Ариадна. Жизнью заплатили Марина и Мур.

День, когда Пастернак ничего не нашел сказать Марине „ясного и определенного", предопределил все остальное.

Правда, еще был момент в начале войны: Марина почему-то решила, что Пастернак пустит ее пожить к себе на дачу в Переделкино, даст ей там передохнуть от бездомности и нищеты. Но Борису Леонидовичу это было почему-то не с руки.

И Марина Ивановна уехала с сыном в эвакуацию в Елабугу. На гибель.

О конце Марины Цветаевой говорят глухо.

В воскресенье 31 августа, спустя десять дней после приезда ее из Москвы, хозяйка дома, Анастасия Ивановна Бредельщикова, нашла Марину Ивановну Цветаеву висящей на толстом гвозде в сенях с левой стороны входа.

Она так и не сняла перед смертью фартука с большим карманом, в котором хлопотала по хозяйству

в это утро, отправляя Мура на расчистку площадки под аэродром.

После смерти Марины Цветаевой оставались привезенные ею из Москвы продукты и 400 рублей.

Хозяйка дома говорила: „Могла бы еще продержаться... Успела бы, когда все съели..."

Могла, конечно. Сколько людей в России выдержали, потому что ждали пайку или банного дня.

Узнав, что перед самоубийством Марина Цветаева ездила в Чистополь к поэту Асееву и писателю Фадееву, Пастернак позже ворчал: „Почему они ей не дали денег? Ведь я бы им потом вернул".

Но я еще тогда узнал, что не за деньгами ездила Марина Ивановна в Чистополь, а за сочувствием и помощью.

Историю эту я слышал от Маклярского. Мне ее глухо подтвердила через несколько лет Аля. Но быстро перестала об этом говорить.

Сразу по приезде Марины Ивановны в Елабугу, вызвал ее к себе местный уполномоченный НКВД и предложил „помогать".

Провинциальный чекист рассудил, вероятно, так: женщина приехала из Парижа – значит в Елабуге ей плохо. Раз плохо, к ней будут льнуть недовольные. Начнутся разговоры, которые позволят всегда „выявить врагов", то есть состряпать дело. А может быть, пришло в Елабугу „дело" семьи Эфрон с указанием на увязанность ее с „органами". Не знаю.

Рассказывая мне об этом, Миша Маклярский честил хама чекиста из Елабуги, не сумевшего деликатно подойти, изящно завербовать, и следил зорко за моей реакцией...

Уезжая из Парижа, Марина говорила Зинаиде Шаховской: „Знайте одно, что и там буду с преследу-

емыми, а не с преследователями, с жертвами, а не с палачами".

Ей предложили доносительство.

Она ждала, что Асеев и Фадеев вместе с ней возмутятся, оградят от гнусных предложений.

Это от чего же оградить? Чем возмущаться? Осень 1941! Сталин правит страной! Да сотрудничество с органами, если хотите знать, величайшая честь! Вам, гражданочка, если уж на то пошло, выразили доверие!

И потому, боясь за себя, боясь, что, сославшись на них, Марина их погубит, Асеев с Фадеевым сказали (или кто-то один из них сказал, – может быть, и Асеев, – боясь Фадеева) самое невинное, что могли в таких обстоятельствах сказать люди их положения. А именно: что каждый сам должен решать – сотрудничать ему или не сотрудничать с „органами", что это дело совести и гражданской сознательности, дело политической зрелости и патриотизма.

Совет не лучше и не хуже того, что дал ей когда-то Пастернак. Борис Леонидович, вероятно, вообще сделал бы вид, что не понял, о чем она говорит, пролепетал бы что-нибудь невнятное. Как в знаменитом телефонном разговоре со Сталиным о Мандельштаме.

„Ах, почему они ей не дали денег?"

В самом деле – почему?

В Елабугу Марина вернулась оцепеневшая от отчаяния. Не знаю, что сказал ей тогда сын Мур.

(Знала ли Марина, что когда друзья Сергея Эфрона убивали Игнация Порецкого, то по чистой случайности не отравили цианистым калием его жену и маленького ребенка? Не была ли она все эти годы с палачами?)

Тяжко было жить, а стало совсем невмоготу. И вместо встречи с русским читателем – единственный выход: гвоздь в сенях и обрывок веревки.

Письмо ее прощальное изъято властями бесследно.

О, бутафорский фасад выморочной страны!

Принято считать, что выражение „потемкинские деревни" означает показуху, мнимое благополучие, обман. А советская историческая энциклопедия поясняет, что обвинение светлейшего князя Потемкина в создании бутафорских деревень – всего лишь подлый навет саксонского дипломата Гельбига.

Есть логика в нежелании даже задним числом признать, что наглый обман давно стал вечно живой традицией властителей России.

*

В прелестной книге „Пишу, как хочется" первый и многолетний (15 лет!) корреспондент „Нью-Йорк таймс" в Москве Уолтер Дюранти рассказывает, как с одним немецким коллегой присутствовали на Казанском вокзале в Москве при отъезде в ссылку Льва Давидовича Троцкого.

Журналисты все видели своими глазами и написали отчет. А потом узнали, что Троцкого в Верный (Алма-Ата) увезли днем позже со станции Люберцы.

На Казанском вокзале, в сопровождении охраны и секретарей, прошел к международному вагону загримированный под Троцкого актер...

На обмане своих и чужих держится „единство

партии и народа". На обмане еще больше, чем на подавлении.

За размалеванным бутафорским фасадом жила и живет огромная страна, надрываются зазывалы у входа!

И лгут! Лгал Пастернак, якобы не зная, что посоветовать Марине. Годами лгал Илья Эренбург. Опровергал „вздорные слухи" о казни его друзей.

Все мы лгали. Иногда простым умолчанием.

6. КАК СТАНОВЯТСЯ ШПИОНОМ

Со свернутым мешком под мышкой я спешил под вечер на склад за пайком. Глаз зацепился за фигуру в подворотне. Потрепанный заграничный костюм и, тоже свернутый, „сидор".

– Привет!

– Привет!

Петра я знал по Парижу. Сын эмигрантов. В Союзе возвращения на Родину, на рю де Бюси 12, пел в хоре и участвовал в драмкружке.

В последний раз мы виделись в 1938 году в Барселоне. Он приехал с фронта на побывку к жене, меня на несколько часов отпустили из школы Четырнадцатого корпуса в Вальдорейше, где я служил инструктором подрывного дела.

По правилам конспирации мы не должны были встречаться, тем более – обмениваться воспоминаниями. Поэтому, посидев на лавочке на бульваре, пошли не к нему – он жил с двумя товарищами, а ко мне.

Петр уехал из Испании чуть позже меня. Вернул-

ся к родителям во Францию. Через жену и ее отчима-анархиста он уже был связан с советской разведкой.

Когда в 1939 году началась война, его со многими эмигрантами интернировали как нежелательного иностранца. Через некоторое время со всем лагерем вывезли в Африку, в Алжир.

Высадились американцы. Начали освобождать. Появилась советская репатриационная комиссия в составе Мицкевича (моего бывшего командира полка в ОМСБОН*) от Первого управления и Костальского от ГРУ.

За Петра шепнул словечко сидевший с ним в лагере доктор Рубакин, бывший врач советского посольства в Париже, и он был включен в группу на отправку в Советский Союз.

Через Египет и Иран добрались до Красноводска. Там Петру и двум его товарищам, Семену Крамскому и бывшему интербригадовцу Борису Бердникову предложили работать в разведке. Впрочем, Петр и раньше был с ней связан. А Крамской работал давно, еще с молодых лет, прожитых в Палестине.

В Москве все трое прошли ускоренный курс обучения: радиодело, парашют, тайнопись. Спешили. План их заброски на Запад строился на том, что они возвращались к своим оставшимся там семьям, а пребывание в Советском Союзе должно было исчезнуть из их биографий. Они якобы отбились от группы в пути, добрались в Югославию, до конца войны воевали у партизан Тито...

Вскоре Петр забежал ко мне попрощаться. На

---

* Отдельная мотострелковая бригада особого назначения НКВД СССР.

следующее утро он вылетал. Продолжение истории я узнал много лет спустя. Уже незадолго до моего отъезда из СССР.

Вылетев из Внуково, они через Одессу, Бухарест, Белград добрались до Бари. Там расстались. Петр проехал в Рим. Устроился на мало обременительную работу и стал ждать приказа ехать в Париж к семье. Связываться с ней ему, однако, до поры запретили.

Время шло. Он служил телефонистом в каком-то посольстве, подслушивал разговоры. Но для такой работы нелепо было присылать человека из Москвы, на месте хватало людей.

Бездействие, тоска по жене и ребенку, тоска по родителям выводили из себя. Нарушив конспирацию, он связался с родными. Хотел узнать, что с ними.

Узнал. Жена его открыто жила с другим. Не он один нарушил правила конспирации, и Петр постепенно выяснил, что сожитель жены – парижский резидент советской разведки, под началом которого ему предстояло работать во Франции.

Он понял, что вызова в Париж ему придется ждать долго. Он начал пить, дерзил начальству, дразнил его, указывая на различные промахи, разоблачил валютные махинации местного резидента, спекулировавшего на падении курса лиры.

Петр всем надоел и становился опасен. Его перебросили в Вену под предлогом, что оттуда будет проще отправить его в Париж.

Он жил один на частной квартире. Мог бежать, но не решался. Еще надеялся, что, не совершая непоправимого, вернется в Париж, город его юности, к семье, к ребенку. С тем, что жена ушла, он уже

смирился. Удерживал и страх. Он помнил, как мальчишкой стоял в Париже на страже у подъезда дома, куда заманили человека, подозреваемого в измене. В квартире люди Эфрона поджидали жертву. На пороге ванной комнаты, хихикая, потирал ручки Николай Поздняков. (Затея, однако, провалилась. Человек был настоящим агентом Сюртэ и привел с собой прикрытие.)

Страх, что его убьют, просто угадав его мысли, парализовал Петра. Он продолжал пить. Наконец, собрался с мужеством и решил, что пойдет к американцам, будет умолять их спасти его.

К нему заехал шеф, сообщил радостное известие. Завтра Петр летит в Париж!

Самолет приземлился во Внуково.

Петра не расстреляли, не арестовали. Выдали паспорт на чужую фамилию, поселили в глухом провинциальном городке в общежитии (где его тотчас обокрали до нитки), устроили работать линейным монтером районной телефонной станции.

Передали на связь местному оперуполномоченному для „освещения" вредных разговоров среди голодных, измученных работяг, с которыми он делил комнату.

Вряд ли он щадил своих товарищей, издевавшихся над его плохим русским языком, над его одеждой из западного старья; над тем, что в местной библиотеке он брал несколько имевшихся там французских книг.

Вскоре после смерти Сталина ему разрешили переехать в большой город, поступить на крупный завод.

Я так и не понял, удалось ли Петру окончить институт или ему просто дали фальшивый диплом на

новое имя. Но когда он у меня объявился много лет спустя, то работал инженером на оборонном заводе в одном из городов на Волге. Он подзабыл французский, так и не научившись как следует русскому языку. Женился на очень милой и очень больной женщине. Приехавшая из Франции мать жила с ним. Отец умер.

Когда резидент бросил его жену, она вышла замуж за русского эмигранта и приехала с ним в Советский Союз. Вместе с ней приехали ее родители. Отчиму разведка устроила мизерную пенсию. Петр иногда ездил навестить бывшую жену, работавшую на заводе, и дочь-школьницу.

Спутников, с которыми он когда-то вылетел из Внуково, он больше никогда не встречал. Об одном из них, Семене Крамском, было известно, что он умер в Париже в 1957 году. О Борисе Бердникове Петр не знал ничего.

А бывший любовник жены сделал карьеру. Несколько лет работал за границей под видом корреспондента ТАСС, потом стал послом.

Вылечившись от белой горячки, Петр бросил пить. Когда мы до утра проговорили с ним на кухне моей московской квартиры, он отказался даже от стакана вина. Пил только чай и без конца курил отвратительные сигареты „Ароматические".

*

Когда началась первая мировая война, Александру Лесовому, уроженцу Крыма, было лет тринадцать-четырнадцать. Ходить в школу и готовить уроки стало скучно. Александр сбежал на фронт. Какая-то часть приютила его. Пока родители его об-

наружили и вернули домой, у него уже был солдатский Георгиевский крест. За подвиги в полковой разведке.

Георгиевского кавалера посадили за парту. Гражданская война и эвакуация армии Врангеля застали его гимназистом старшего класса. Перед самой эвакуацией, чтобы не оставлять мальчиков на произвол судьбы, гимназистов призвали в армию. Прослужив у Врангеля неделю, Алекс отплыл в Галлиполи.

Ему быстро надоело жить в лагере. Как только приехали какие-то люди набирать сельскохозяйственных рабочих в Бразилию, он подмахнул бумагу, в которой не понимал ни слова.

Привезли их на Корсику, где оказалось, что он подписал пятигодичный контракт во французский Иностранный легион. Попытка бежать сорвалась. Пришлось отслужить срок.

Нет, говорят, худа без добра. Служба в легионе давала, а возможно и теперь дает, право на французское гражданство. Пять лет спустя с французским паспортом в кармане Алекс Лесовой приехал на Лазурный берег.

Он работал шофером, продавцом в антикварном магазине и вообще чем попало.

Когда мы с ним встретились, он был уже старым парижанином, зубным техником, мужем очаровательной молодой еврейки из Палестины, отцом не менее обаятельной дочурки. И бывшим членом французской компартии. Объяснение, что его исключили за недисциплинированность, звучало очень убедительно, но не соответствовало истине. С партией он формально порвал, полагаю, по другим причинам.

Свою службу в Испании он начал на самом обреченном участке – на отрезанном со всех сторон Севере. Во главе партизан он прикрывал отступления: минировал дороги и взрывал мосты.

Алекс вернулся в Париж. Никто не упрекнул бы его, останься он там с женой и дочкой. Взяв их с собой, он вернулся в Испанию.

Но операций ему не поручали, а принялись гонять его без толку и смысла с места на место. Одно время вместе со мной.

Мы недоумевали, объясняли тупостью и трусостью отдельных людей то, что было на самом деле системой. Убедившись в том, что делать ему в Испании нечего, он добился того, чтобы его отпустили во Францию.

Когда я тоже вернулся в Париж, мы часто виделись, вспоминали Испанию, пытаясь задним числом понять, ругали одних и тех же людей. В симпатиях и антипатиях мы всегда с ним сходились полностью.

Началась война, Алекса призвали во французскую армию. Нам не пришлось встретиться до моего отъезда в США. А когда я уехал в СССР, то полагал, что не увижу его никогда.

Где-то в конце пятидесятых годов он вдруг объявился у меня в Москве. Впервые с двадцать первого года он приехал в Россию повидать сестру и друзей. Главным образом, только что освободившегося из тюрьмы Леопольда Треппера.

От Алекса я впервые услышал рассказ о том, как Треппер бежал от немцев из парижской аптеки.

Позже в отличной книге Жиля Пэрро „Красный оркестр" я прочитал, что когда Треппер, в дни освобождения Парижа, собирался захватить гестаповскую опергруппу, то готовил эту операцию с по-

мощью Алекса Лесового. Для такой отчаянной затеи он не мог найти более подходящего компаньона. Сам Алекс мне об этом эпизоде ничего не говорил.

Некоторые авторы – Даллин, например – представляют Треппера, как человека, предавшего своих товарищей. Я думаю, что все не так просто. Лесовой не мог, мне кажется, дружить с подлецом. Впрочем... Сам Треппер в своих воспоминаниях, вышедших по-французски под названием „Большая игра", тепло вспоминает о Лесовом, старательно, впрочем, подчеркивая, что Алекс был просто убежденным коммунистом и никогда не был агентом ГРУ.

В тот свой единственный московский приезд Алексу не удалось повидать своего друга. Не знаю, встретились ли они потом. Лесовой умер в Париже в 1963 году. После выезда из Советского Союза мне очень его не хватает.

В своих, возможно апокрифических, воспоминаниях Олег Пеньковский пишет, что нет разницы между ГРУ и КГБ, что обе организации действуют одинаковыми методами. Разница лишь в том, что ГРУ не шпионит за своими соотечественниками.

И на том спасибо! Да и вообще военная разведка – не прерогатива тоталитарного государства, а функция государства любого, имеющего армию и заботящегося о своей безопасности. Она не обязательно является орудием идеологического воздействия, моральной коррупции, провокации, продолжением внутреннего карательного аппарата. ГУЛаг в систему Красной армии все-таки никогда не входил, а к системе ГПУ-НКВД-МВД-КГБ имел и имеет самое непосредственное отношение.

И из личного опыта: среди работников политической разведки, в КГБ, я почти не встречал прилич-

ных людей, а бывшие работники ГРУ, с которыми сталкивала меня судьба, были милые и порядочные люди. Я тепло вспоминаю моего начальника по французской кафедре Военного института иностранных языков, полковника Сергея Богдановича Марковича, едва не попавшегося во Франции, резидента ГРУ, и преподавателя военного перевода, шепелявившего на все буквы алфавита, милейшего Исайю Бира. Под кличкой Фантомас он в свое время попался-таки во Франции и отсидел срок в тюрьме.

Эти люди добывали военные секреты. Но, насколько знаю, они не предавали друзей и не устраивали провокаций.

*

Гражданская война разлучила двух братьев. Старший ушел с Белой армией, младший остался в России.

У семьи были какие-то деньги за границей, и уехавший брат, начав не с пустого места, пошел в гору. Он жил в Париже, процветал и богател.

Младший брат выехать не сумел и был арестован. Но через какое-то время вышел на свободу, и братья начали осторожную переписку.

Затем оставшийся в России брат умер. То ли своей смертью, то ли нет. От его имени продолжали приходить письма в Париж. Приходили даже фотографии, на которых парижский богач с трудом узнавал меняющееся с годами лицо брата.

Наконец, парижский брат умер, оставив огромное наследство. Французы не хотели отдавать состояние анонимной Инюрколлегии, требовали, чтобы наследник явился лично.

Отпустить подставного брата не решались. Став богатым человеком, он мог остаться в Париже, а советское посольство не смогло бы его разоблачить.

Кроме того, по легенде подставной брат должен был быть женат. Был женат и агент, которого собирались послать в Париж. Но отпустить его вместе с женой – означало увеличить шансы побега. Решили послать с фальшивой женой.

От кандидатки на эту роль я и узнал тогда всю эту историю. Планы несколько раз менялись. Наконец, нашли выход. Не послали никого. Пожертвовали значительной частью наследства, чтобы французы перестали настаивать на приезде наследника.

Я чуть-чуть изменил детали, но схема точна. Разработкой этой уголовной операции занимался под наблюдением ЦК КПСС Комитет государственной безопасности Совета министров СССР.

*

И еще воспоминание тех дней:

Папка с личным делом и фотографией молодого офицера армии другой страны. Эмигрант, из русского княжеского рода (а брат его был в то время военным атташе одной союзной державы). Попав, не помню как, в руки советской разведки, молодой князь обязался на нее работать.

*

Зима 1941 года. Поздний вечер. Жду в машине во дворе деревянного домика в Сокольниках. Там Миша Маклярский присутствует при прощании своего

агента со старушкой-матерью. Сегодня ночью этот человек перейдет на лыжах линию фронта.

Потом Миша расскажет: на прощанье мать благословила сына, надела на шею образок.

Происхождение (он шел под своим настоящим именем), расстрелянный отец, религиозное воспитание должны были обеспечить агенту хороший прием, помочь завоевать доверие.

Где-то он теперь?..

7. „ЭТА РАБОТА НЕ ДЛЯ ВАС!"

После бригады НКВД, школы радистов, Четвертого управления и поручений Маклярского у Вилли я вздохнул!

Словно из фронтовой похоронной команды попал в столичную гвардейскую часть. Повеяло привычными мне нравами, не изменяя вроде бы политическим убеждениям своей юности, я мог не жить в удушающей атмосфере гнусного доносительства. И к тому же надеяться и вовсе уехать из страны, которая успела мне опостылеть.

Но пленившие меня поначалу разговоры Вилли и Рудольфа за чаем или водкой вскоре приобрели тревожный характер.

Постепенно вырисовывались контуры моей будущей работы.

Самостоятельности не будет никакой! Важные решения все равно будет принимать Москва. А ей на „местные условия" наплевать. Никогда не похвалят, и во всем будешь виноват.

Ну это еще куда ни шло! Но смысла работы подчас понимать не будешь. Плоды твоих многолетних

усилий будут по чьей-то прихоти сведены на нет. Пример: сеть радиостанций, которую Вилли много лет налаживал в Скандинавии. Ей бы сейчас цены не было. А ее перед самой войной свернули!

Начальство, кроме Яши Серебрянского, состоит из карьеристов, дураков и стяжателей.

Куда я попал? Зачем я ввязался в эту историю? Заметив мое подавленное состояние, Вилли начал новую тему:

– Из органов не уходят!

Рудольф вторил ему, приводил примеры. Выгнать могут. Как перед войной выгнали самого Вилли. А Рудольфа чуть не выгнали. А „старика" Серебрянского чуть не расстреляли. Но по-хорошему не отпустят ни за что! А будешь проситься – посадят. Или, чего доброго, расстреляют.

Я начал паниковать.

Тогда, решив, что я созрел, ничего не говоря прямо, приводя лишь примеры из жизни и призывая Рудольфа в свидетели, Вилли принялся внушать мне мысль, что уйти из органов можно только одним путем: убедив начальство в собственной непригодности при полном служебном энтузиазме и политической преданности. Я, разумеется, понял не сразу. Да вообще не столько понял, сколько воспринял нутром. А когда я дошел до применения на практике осторожных советов Вилли, то сказанное мне полунамеками осуществлял полусознательно. Но довольно энергично.

Я писал эпиграммы на работников Первого управления, которому меня передали, и читал их моему новому инструктору радиодела со звонкой фамилией Суворов, который тут же обо всем докладывал, куда следует.

Если мне назначали сеанс учебной радиосвязи с анонимным корреспондентом, я, не жалея сил, выяснял, кто этот корреспондент, доставал его телефон и звонил ему, спрашивая о качестве приема.

Если вызывал для беседы шеф повыше, например, генерал Яковлев, я сразу называл его по фамилии, которую мне знать не полагалось, и начинал расспрашивать о сыне, чье существование не должно было мне быть известно.

Больше всех я допекал Бориса Эммануиловича Афанасьева, который меня почему-то раздражал своей самодовольной тупостью. Узнав номер телефона, по которому его мог вызвать только большой начальник, я звонил, и буркал секретарше: „Афанасьева"! Или „Подполковника!"

А когда, млея от подобострастия, Борис Эммануилович брал трубку и сообщал, что „подполковник Афанасьев слушает!" – я назывался. Шеф клокотал от ярости. Но у него не хватало духа спросить у меня, откуда мне известны его звание, фамилия, номер телефона.

Если же меня вызывал генерал Яковлев для очередного обсуждения проекта моей поездки в Швейцарию, я вносил предложения полные служебного рвения, но лишавшие, полагаю, затею всякого смысла.

С непонятным для меня сейчас опозданием, у начальства начинало складываться ощущение, что ему со мной не по пути. Однако конкретно упрекнуть меня ни в чем не могли. Но взаимной теплоты в отношениях становилось все меньше.

Жил я уже не у Вилли.

Однажды довольно поздно вечером меня вызва-

ли на Лубянку. С первых же слов Афанасьева стало ясно: наши отношения пришли к концу.

– С вашей отправкой возникли неожиданные осложнения. Ее придется отложить на неопределенный срок.

Вынув из моего паспорта вложенную туда фальшивую справку об освобождении от военной службы по болезни и пропуск для хождения по городу ночью (подарок Маклярского), он паспорт вернул, протянув мне тут же печатный бланк, в котором говорилось, что я обязуюсь не разглашать государственные тайны, ставшие мне известными в связи с работой в органах, и предупрежден о грозящей мне в противном случае каре.

Я подписал. Сотрудник проводил меня до выхода, провел мимо вахтера по своему удостоверению, и я оказался на улице.

Я шел домой со странным чувством. С одной стороны, я понимал, что случилось то, к чему я толкал события уже давно. А с другой – я успел уже настроиться на отъезд в Швейцарию, и мне было обидно, что меня выгнали.

Придя домой, застал там повестку из военкомата. За полчаса до моего возвращения ее принес какой-то офицер. На призывном пункте я должен был быть на следующее утро, очень рано.

На пересыльном пункте медицинский осмотр был упрощенного образца:

– Расстегните шубу! Застегните шубу! Годен. Следующий.

Потом нас побрили наголо. Потом построили во дворе...

Мне показалось, что я попал в часть, состоящую из каких-то говорящих на непонятном языке ино-

родцев. Я еще почему-то подумал, что это, наверное, эстонцы. Но внешне они эстонцев не слишком напоминали. А когда нас с трудом – потому что из толпы все время раздавались странные выкрики – построили, из штабной конуры вышел писарь с какой-то запиской и вызвал мою фамилию. Я пошел за ним. По дороге он шепнул:

– Генерал-майор распорядился выдать вам увольнительную на три дня. За этот срок вы все успеете устроить.

Он объяснил, что непонятный мне язык – это так называемая „феня", воровской жаргон. Что строился я с уголовниками, которых из далеких лагерей везут на фронт в штрафные части. Что если бы я с ними провел на пересылке ночь, то меня обчистили бы до нитки, и что штрафников посылают на убой: семьдесят процентов потерь – норма!

Выписывая увольнительную, он еще сказал, что если трех дней не хватит, отпуск продлят.

Я понял, что произошло чудо. Я еще не знал – как оно произошло.

Во-первых, по просьбе моей матери всемогущий дядька позвонил главному военному комиссару Москвы, генерал-майору Черных, и сказал, что на пересылке Красной Пресни находится его племянник, который: а) не успел попрощаться с семьей. б) у которого было освобождение от военной службы – он хворый, в) которого забрали по ошибке и г) которого он просит отпустить домой на пару дней. Генерал распорядился.

Но это было не все. Сосед матери, преподаватель португальского в Военном институте иностранных языков, успел доложить начальству, что на пересыльном пункте ожидает отправки простым солда-

том на фронт человек с дипломом парижского университета.

В тот же день я был зачислен слушателем первого курса Военного института иностранных языков с исполнением обязанностей преподавателя французского языка.

Прошло несколько дней, и для приведения в порядок моих дел я решил получить от Первого управления оставшиеся там мои документы: диплом, справки и так далее.

Мой телефонный звонок произвел легкий шок. То, что я в Москве, под крылом могущественного тогда генерала Биязи, очевидно, не входило в расчеты. Ведь я должен был уже находиться где-то в пути к фронту, а вскоре после этого – в могиле, в числе законных семидесяти процентов будущих покойников.

К сожалению, я тогда не успел узнать фамилию ярко-рыжего сотрудника, с которым говорил по телефону и который вынес мне документы. Назови я тогда его настоящую фамилию – Наркирьер, он, вероятно, лопнул бы от ярости. Но я еще до него не докопался. А когда я закончил свое маленькое расследование, было уже поздно – у меня не было повода звонить в Первое управление.

Вопреки всякой логике, я еще долго кипятился и обижался, что меня выгнали.

– Разведка, – утешал меня Вилли, – все равно не для белого человека. Станете на ноги. Будете преподавать. Или еще что-нибудь будете делать...

Миша Маклярский произнес целый спич:

– Ну, так вас не послали в Швейцарию! Вы даже не представляете себе, сколько советских граждан никогда не ездят в Швейцарию! Зато вы ушли от

наших не по своей воле, никого ни о чем не просили, никому ничем не обязаны, мы вас никуда не устраивали! Демобилизуетесь и устроитесь на работу сами, без нашей помощи. А ваше дело пошло в архив. И если к вам когда-нибудь придут с предложениями, вы к этим предложениям сможете отнестись вполне индифферентно. И даже послать подальше. Это мало кому удается.

Я не сразу понял и оценил свое фантастическое везение.

8. МОСКВА, ВСЕСОЮЗНОЕ РАДИО

Был конец июня 1957 года.

Из французской редакции на верхнем этаже здания Московского радио на Пятницкой я спустился в иносправочную просмотреть новые французские газеты.

Право их читать мне вернули сравнительно незадолго до этого. Были перед тем такие годы, когда беспартийного сотрудника не допускали даже до органа французской компартии „Юманите": „Наши французские товарищи живут пока что в условиях капитализма и вынуждены, разоблачая врагов, цитировать их газеты. Вам это читать незачем!"

Но газеты были для меня второстепенной заботой. Главная забота была – уцелеть!

Примерно с 1948 года работников радио начали косить массовые увольнения. Гнали „космополитов". Кто-то сочинил стишок:

Чтоб не прослыть антисемитом,
Зови жида космополитом!

Чтобы не создавать нервозности, увольняли по спискам, которые вручались постовому милиционеру. Тот при выходе отбирал пропуска уволенных. На следующий день они могли всласть объясняться по вечно занятому телефону с отделом кадров.

В отдельных случаях сотрудника вызывали в отдел кадров. Затем приходили какие-то люди, опечатывали и уносили его стол. Не всех этих людей расстреляли, кое-кто через несколько лет вернулся из лагерей. Со справкой о реабилитации „за отсутствием состава преступления". Родственникам расстрелянных тоже выдавали справку. Партия всегда умела исправлять досадные ошибки.

По недосмотру, впопыхах, одного сотрудника уволили, когда он был в отпуске. Это незаконно. Придравшись к техническому нарушению, коллега подал в суд.

Судья-женщина говорила с ним сочувственно. Наш законник распушил хвост и в душе уже праздновал победу над начальством. Он-то всегда знал, что только дураки дают себя увольнять как баранов. Он же был умный!

Судья спросила вскользь, чем он объясняет свое увольнение. Зная законы и Конституцию, коллега брякнул, что, по его мнению, причина в антисемитизме.

Его взяли под стражу тут же, в зале суда. Судили на следующий день и дали срок. Кажется, десять лет лагерей. Не клевещи, мерзавец, на советский общественный и государственный строй! В Советском Союзе нет, а главное, не может быть антисемитизма! Читайте Конституцию, которую народ, по имени ее создателя, называл Сталинской, хотя сочинил ее Бухарин.

Кампания, как я случайно узнал, готовилась исподволь.

Примерно за год до ее начала моего приятеля Г., начальника группы комментаторов-международников, вызвал секретарь партийного комитета Московского радио Горбачев: „Вот тебе партийное задание. Мы должны освободиться от чуждых и ненадежных элементов. Но чтобы... сам понимаешь, нас не могли обвинить... Забудь впредь о секретаре твоей парторганизации Фильштинском. По всем вопросам — прямо ко мне. По производственным — прямо к Сергею Георгиевичу Лапину. Даю сроку год!"

Горбачев потом пошел вверх. И Сергей Георгиевич сделал отличную карьеру. Стал членом ЦК, председателем Комитета радиовещания и телевидения Совета министров СССР.

А вот сегодняшние дни. Выдержка из „Хроники текущих событий" № 46, с. 156:

„22 декабря 1977 года на совещании творческих и руководящих работников телевидения выступил председатель Комитета по радиовещанию и телевидению Лапин. Коснувшись случая, когда в одном телефильме речь героя-латыша, с акцентом говорившего по-русски, была дублирована на чистый русский именно из-за акцента, он осудил этот факт. „Все акценты братских народов, которые изучают русский и говорят по-русски, мы должны только приветствовать, поскольку они, кроме своего родного, изучают и русский. Ни в коем случае нельзя считать это недостатком... Правда, есть один акцент, который всех нас раздражает... в последнее время его мы слышим не так часто, но должно быть его как можно меньше".

3 или 4 января 1978 года при обсуждении программы новогоднего „Голубого огонька" Лапин выразился еще яснее: „Программа была составлена так, что можно подумать, будто у нас нет русского национального искусства. Райкин, Карцев и Ильченко, до 31-го был Хазанов... А песни: Фрадкин, Фельцман, Френкель... Во всем чувствуется неприятный акцент, который всех нас раздражает. В дальнейшем его должно быть как можно меньше".

Пусть мне не говорят, что в СССР, если понадобится, не найдут своего Эйхмана! Пока партия не приказала – Сергея Георгиевича Лапина раздражает „акцент". А когда прикажет?

Впрочем, когда прикажет, то не отстанет, полагаю, и первый заместитель Лапина, азербайджанец Энвер Назимович Мамедов!

А Г.? Готовя на своих товарищей-евреев материал для увольнения, он терзался, каялся перед ними (и они же его утешали!), но продолжал выполнять партийное поручение. И спился!

Настоящее полицейское государство не только наблюдает, управляет, пресекает и карает – оно воспитывает!

Атмосфера сгущалась. Что ни день, центральные газеты разоблачали козни космополитов. Жирным шрифтом выпирали из строчек еврейские фамилии. Во французском отделе наш главный редактор Николай Иванович Годунов и его заместитель Василий Иванович Дакин все это читали, подчеркивали еврейские фамилии и раскладывали на столах сотрудников. Пусть знают, гады, что их ожидает!

Заседая в какой-то избирательной комиссии Свердловского района, Дакин составлял списки

избирателей. А отдельно — список евреев на выселение.

Друзьям поверял, что скоро всю эту сволоту вышлют, куда следует, и он из своего деревянного домика в Серебряном Бору, где он живет с женой, ребенком, тещей и козой, переедет в отдельную квартиру в центре Москвы.

Страну готовили к делу „убийц в белых халатах" и всесоюзному погрому.

Протестовать? Жаловаться?

Куда? Кому? Мало того, надо было еще делать вид, что ничего не происходит.

У нас в редакции всех, кто кое-как еще умел работать, выгнали. Но, чтобы не прекратить ненароком вещание, терпели двух самых сильных переводчиков: моего друга Дмитрия Сеземана и меня.

Настал, однако, день, когда в редакции появились молодые выпускницы Института иностранных языков, и Годунов радостно объявил нам, что эти кое-как болтавшие по-французски девушки — и есть те высококвалифицированные кадры, которые будут впредь работать. От нас же ожидали выражения радости по поводу того, какая в стране советов талантливая молодежь, и того, что ей открыты все пути.

Нас спасло чудо. В Крым приехал отдыхать генеральный секретарь компартии Франции Морис Торез, выступавший во время войны по радио из Советского Союза. Кому-то пришла в голову мысль выклянчить похвалу, попросить послушать передачи. Прослушав их, вождь „партии семидесяти пяти тысяч расстрелянных" почему-то решил, что они на румынском языке.

В кабинете тогдашнего председателя радиокомитета Сергея Виноградова, будущего посла в Париже, раздался телефонный звонок.

Нас с Сеземаном оставили в покое.

Несколько лет спустя я узнал, что позже мое дело рассматривала еще специальная комиссия по увольнениям под председательством Даниила Федоровича Краминова, ставшего затем заместителем главного редактора „Правды". Прочитав мое досье, Краминов сказал: „Да, конечно, он... (слово „еврей" произнесено не было), но мать у него дворянка, дед – генерал-лейтенант царской армии... Подождем!"

*

По семейному преданию, мой дед со стороны матери, генерал-лейтенант Алексей Нелидов перед начальством спину не гнул. В результате, несмотря на знатность рода, закончил службу в Томске. Да и там из прокурора был смещен в судьи и уволен в отставку, не дотянув до эмеритуры, то есть – повышенной пенсии. Дал себе некстати труд разобраться в китайских именах и запротестовал, почему вешают не бандитов-хунхузов, а ни в чем не повинных китайских крестьян.

В доме у себя, как и полагалось в те времена, генерал Нелидов жандармских офицеров не принимал и руки им не подавал.

Был бессребреник. О том свидетельствует семейная история.

Во время итальянской кампании генерал Бонапарт конфисковал для нужд армии имущество французского эмигранта Тьерри, выдав ему при

этом расписку в том, что изъятое взято в долг французским государством.

Взяв расписку, Тьерри поспешил от греха подальше в Россию, служить русскому императору. Через несколько поколений, за неимением мужских наследников, фамилия Тьерри исчезла, превратившись сначала в де Грессан, затем в Массари и, наконец, в Нелидовых. Расписка осталась.

На стыке прошлого и этого веков какой-то расторопный парижский адвокат отыскал наследников в далекой Сибири. Первоначальная огромная сумма успела обрасти такими процентами, что расплатиться не хватило бы всей французской казны. Так что речь могла идти о частичной компенсации.

Дед наотрез отказался ехать. Русскому генералу не пристало тащиться за подачкой в какой-то Париж. Сестры решили, что им не так зазорно. Заказали шляпки, сшили новые шелковые блузки и отправились в столицу канкана.

За отказ от всяких дальнейших претензий за себя и своих наследников эти дамы получили что-то около пятидесяти тысяч золотых франков.

Не унизившийся до стяжательства дед ничего не получил и ничего не подписал, сохранив для меня таким образом право требовать сегодня золотой запас Франции. А заодно, в определенный момент, и право работать в советском учреждении.

Но природа отпускает нам по два деда. Второй мой дед, со стороны отца, был еврей и в годы борьбы с космополитизмом мог принести мне одни неприятности.

Разделяя иллюзии многих своих соплеменников, Яков Хенкин из местечка Ивановка под Ростовом

был уверен, что торговля спасает от нищеты. И он торговал старым железом на базаре.

Что значит — старым железом? Это значит, что если ветром сорвало с крыши лист кровельного железа, если на стройке рассыпали гвозди — Яков Хенкин подберет и предложит покупателю.

Спасали дети. Пять сыновей и три дочери. Мальчики исправно трудились, выдергивая гвозди из вполне исправных заборов.

И все же Яков Хенкин умудрился, что называется, вывести детей в люди. Один сын стал богатым коммерсантом, другой — видным инженером, двое пошли в актеры.

Отец окончил школу железнодорожных машинистов и несколько лет ездил помощником на паровозе, играя в любительских спектаклях и учась пению.

Меня глубоко взволновало, когда я прочитал в интервью уже старого Жана Габена, что он пошел в актеры, чтобы не работать на заводе. Играть на сцене, говорил он, легче, чем стоять у станка. Отец говорил иногда, что играть в театре легче, чем водить паровоз. Я никогда не слышал от него пустых слов о служении великому искусству. Он был замечательный артист.

Вернувшись на Запад, где прошла лучшая часть его актерской карьеры, я постоянно встречаю людей, которые еще помнят моего отца.

Я всегда ценил в нем человеческие свойства скромного и прилежного работяги, свойства еврейского отца и мужа, который знает, что с чистой совестью до смерти можно дошагать, если доверившиеся тебе существа сыты каждый день.

Вилли всегда охотно слушал мои рассказы об отце. Он тоже любил вспоминать всякие истории

своего детства, где его отец Генрих Матвеевич Фишер выглядел молодцом.

*

Судьба! Но судьбе не грех помочь. Служба в специальной бригаде, а затем в Четвертом и Первом управлениях, беготня с поручениями для Маклярского кое-чему меня все-таки научили. Я представлял себе в общих чертах структуру аппарата государственной безопасности, пути поступления сообщений от осведомителей.

По моей прикидке, из пятнадцати сотрудников нашей редакции „стучали", как минимум, десять. Или даже больше. При существовавшей тогда системе „обслуживания" все донесения должны были сходиться на одном столе, у одного и того же оперуполномоченного, курирующего наше учреждение.

Дальше я рассуждал так: если, несмотря на мою пеструю, так и просящуюся на посадку биографию, меня до сих пор не взяли, то, во-первых, я уже фигура примелькавшаяся; во-вторых, „наш" оперуполномоченный план выполнил. Моя личность его не волнует: „Ну, что там Хенкин?" – „А ничего. Работает".

Такое положение надо было во что бы то ни стало сохранить. Потому что стоило кому-то из окружавших меня осведомителей ответить на очередной вопрос обо мне чуть-чуть уклончиво, например, сказать: „При мне он помалкивает" – и завертится машина, которую потом не остановишь.

Чтобы как-то себя обезопасить, я мог делать две вещи: не злить окружающих меня осведомителей и не попадать в поле зрения кураторов других учреж-

дений, у которых мое парижско-испанское прошлое могло вызвать нездоровый интерес.

Я перестал бывать в гостях и звать к себе. Из редакции я спешил домой, из дома – в редакцию. Кроме того, я брал очень много работы на дом и диктовал свои переводы всегда одной и той же машинистке, Анне Семеновне Ильиной, о которой я мог с уверенностью сказать, что она была многолетней и доверенной сотрудницей органов. Я работал с ней так много, что она фактически получала от меня вторую зарплату. Чтобы закрепить отношения, я, уезжая в отпуск, платил ей отпускные за месяц вперед.

Нужно было необыкновенное бескорыстное стукаческое рвение, чтобы при таких условиях захотеть упрятать меня в тюрьму.

Но попробуйте жить в такой атмосфере!

В те дни, когда воздух, казалось, становился с каждым днем все гуще, мне на работу позвонил человек, назвался не то Платоном Карповичем, не то Онуфрием Сидоровичем, и сказал, что хочет со мной встретиться, чтобы передать мне привет от Вениамина.

*

... Его партийная кличка была Миша. А на самом деле этого еврейского мальчика из Бухареста звали Вениамин Бург. Мы встретились на вокзале в Париже, оказавшись в одной группе отправлявшихся в Испанию добровольцев. Мы вместе перешли пешком Пиренеи, вместе приехали в Альбасете, вместе сбежали в бригаду Домбровского. Наше путешествие из Франции продлилось шесть недель, и мы успели сдружиться, пока бегали от полиции.

Миша ехал из Бухареста до Испании одиннадцать месяцев. Границы он переходил нелегально. Его ловили, сажали в тюрьму, выдворяли обратно. Потом он догадался говорить, что пришел из той страны, куда ему надо было попасть. Тогда полиция приводила его ночью на границу и пинком переправляла к соседям. Дело пошло живее.

Ночью мы приехали в Альбасете. Утром нас отправили в одну из окрестных деревень для прохождения элементарной военной подготовки. В полдень прибежал Миша: „Скорее, уходит эшелон к Домбровскому, нас возьмут, я договорился, в дороге научимся"! Научились. Перейдя границу 9 июня, мы пошли в первый бой 12-го.

Миша был убит пулей в лоб, как только выскочил из окопа. Он лежал рядом с другими, лицом вниз. В левой руке был зажат пук жухлой травы.

Когда мне понадобился псевдоним, я взял его имя: Вениамин.

*

Стараясь, чтобы голос звучал поровнее, я ответил, что насколько мне известно, Вениамин давно умер.

Незнакомец ответил, что это не так, что нам надо встретиться на следующий день в гостинице „Москва" и поговорить.

Вспомнили!

Я догадывался о том, что мне скажет „товарищ из органов", знал, чем может кончиться для меня отказ. Решение отказаться было непоколебимо.

Фи, пожмет плечами молодой человек с Запа-

да, – фи, даже разговаривать с этими людьми... Послать его к черту! – Написать статью в газету, выйти на улицу с плакатом, протестуя против грубого вмешательства полиции в личную жизнь.

А один мой московский знакомый, о котором я знаю не только, что он „стучал", но в силу бывших связей случайно знаю его агентурную кличку, изрек: „Ко мне не посмели бы сунуться".

После бессонной ночи, перебрав в уме все варианты будущего разговора и все возможные формы отказа, я принял душ, чисто побрился, надел, как моряк идущего ко дну корабля, свежую рубашку, и отправился на свидание, с которого думал не вернуться. Мать, знавшая, куда я иду и одобрившая мое решение, прощаясь, благословила меня.

В каком же месяце это было? Помню только, что летом, и улица Горького была залита слепящим солнцем.

По дороге я проигрывал и другой вариант. А что, если приглашение исходит от Первого управления, и меня собираются послать за границу? Тогда я, разумеется, соглашусь, и, выехав, сбегу. Мать была согласна и на такое решение.

Нет. Не Первое. И не Четвертое. Будь так, со мной наверняка связались бы иначе. Не через Вилли, ясное дело, он уехал, но через кого-нибудь, кого я знаю. Или от имени кого-нибудь, мне известного. Да и не предложат сейчас еврею работу на выезд!

(Приехав в 1973 году в Израиль и осмотревшись, я понял: еще как могли предложить! И жил бы я с тех пор под знойным небом Палестины и отлично говорил бы на иврите. Правда, для

этого надо было быть правоверным евреем, а не, увы, ассимилированным!)

Ожидавший меня бесцветный блондин в вытертом до блеска черном костюме начал с того, что „мы хотели бы вашей помощи. Ведь вы как советский человек...". Было очень страшно!

У Солженицына в „ГУЛаге" описана сцена беседы с оперуполномоченным. Беседа начинается со слов: „ведь вы советский человек", а кончается обязательством автора подписывать донесения кличкой „Ветров".

Грубый, немедленный отказ мог означать катастрофу. А возможность согласия исключалась.

По пути я еще не знал, что и как буду говорить. Озарение пришло на месте. Я начал разговор тоном обиженного отставкой „коллеги".

Где же, мол, вы были раньше? Я разучился работать на ключе, позабыл тайнопись, я не тренировался в прыжках с парашютом... Потеряно столько времени! Впрочем, если родина прикажет, я готов снова взяться за учебу. За полгода, год! Берусь!

Мелькнула надежда. Сидевший передо мной человек явно мало знал о моей прошлой службе и учебе. Он даже был немного испуган, что сунулся с кувшинным рылом куда не надо, и я ему сейчас начну сообщать что-то, чего ему знать не положено.

Тут я принялся щедро сыпать именами, званиями, должностями, адресами. Я говорил о Павле Анатольевиче (Судоплатове), о Борисе Эммануиловиче (Афанасьеве), о генерале Яковлеве и о полковнике Маклярском.

Мой собеседник начал терять уверенность, которая постепенно возвращалась ко мне.

— Нет, — сказал он наконец, — речь сейчас идет не

об этом. Мы думали привлечь вас к работе внутренней. Какие ведутся вокруг вас разговоры, кто как настроен...

Мои выехавшие на Запад московские знакомые скажут, что я был обязан резко отказаться. Я этого не сделал.

Сотруднику Второго управления я начал деловито излагать свою концепцию: всякая собака в Москве знает, что я почти всю войну прослужил сначала в ОМСБОН НКВД, затем в Четвертом, а потом в Первом управлении. (Откуда собака это знает — я объяснять не стал. Знает, и все тут!)

Кроме того, я привел аргумент, который мне и сегодня еще кажется чрезвычайно остроумным:

— Помилуйте, — сказал я, — что ни день, центральная пресса полна разоблачениями, пестрящими еврейскими именами. Вы знаете, какие это вызывает чувства к людям еврейской национальности...

— Но вы же по паспорту русский!

— По чистому недоразумению! К тому же, каждому паспорт не покажешь. Фамилия у меня чисто еврейская. Доверия ко мне поэтому нет. Ваше предложение нецелесообразно.

И уперся как баран! На том и разошлись. Напомнив, что все отношения с органами у меня закончились в декабре 1944 года, я категорически отказался что-либо подписывать и что-либо делать.

Выйдя на улицу, я вдруг понял, что парализующий страх прошел.

(А сейчас я думаю, что такой исход встречи следует объяснять не столько моей смекалкой, сколько отсутствием у органов серьезного желания меня вербовать. Скорее всего, на меня напали случайно, перетряхивая старые архивы.)

Мы с матерью не спешили радоваться. Еще могли арестовать, выслать, уволить с работы. Но тут как раз начальство решило меня не выгонять. И я отделался тем, что меня лишили права читать иностранную прессу.

*

Умер Сталин, реабилитировали „врачей-убийц". Хрущев произнес „секретный" доклад на XX съезде, началась оттепель и массовое возвращение из лагерей.

Году в 1955-м или 1956-м московское радио переехало с Путинковского переулка на Пятницкую. Мне вернули право читать иностранные газеты...

Я спустился в иносправочную, раскрыл последний номер „Пари Матч" и увидел там портрет во всю страницу: в черной шляпе, на которой белая лента смотрится, как повязка, – мой друг Вилли Фишер.

В Нью-Йорке арестован советский шпион Рудольф Абель!

*

Я вернулся в редакцию, сказал, что у меня разыгралась мигрень, и помчался к Фишерам.

В отсутствие Вилли я их избегал.

В 1948 году, сразу после его отъезда, времена были такие, что семью работника госбезопасности знакомство со мной могло только скомпрометировать. А позже, когда в этом смысле полегчало, оказалось, что я по инерции хожу к Фишерам, лишь по случаю праздников или семейных торжеств.

В 1956 году, когда Эвелина выходила замуж за

молодого инженера Германа Зернова, то на свадьбе я, по русскому обычаю, был даже посаженым отцом, то есть занимал за торжественным столом место, которое, будь он дома, принадлежало бы Вилли.

Но сейчас положение другое. Вилли арестован. И от него, и от других я знал, что обычно с семьями провалившихся агентов в СССР обходятся круто. Раз попался, значит, всех выдал. Ведь у нас бы все рассказал, даже то, чего нет. А ведь мы люди гуманные! У проклятых капиталистов-фашистов, небось, раскололся до пупа!

Попавшегося могли постараться вытащить. Но чаще всего лишь для того, чтобы, допросив, уничтожить. Семья же бывала обречена сразу.

„Все, – подумал я, – теперь Элю выгонят из цирка, Эвуню уволят!"

Схваченный японцами советский шпион Рихард Зорге был приговорен к смерти в конце 1941 года. Его, однако, не казнили до 7 ноября 1944 года и трижды предлагали обменять на попавшегося в СССР японца. Ответ советского посольства в Токио каждый раз был один и тот же: „Никакой Рихард Зорге нам не известен".

Если память не изменяет, я был первым, кто сообщил родным об аресте Вилли.

Опасения мои, однако, не оправдались. Главное Первое управление продолжало опекать Фишеров, и моя помощь не понадобилась. Фишеры даже получили на Проспекте Мира маленькую, очень скверную, но отдельную квартиру.

А в дальнейшем все развивалось вовсе не по старым стандартам. Было необычным, что Вилли сразу после ареста признал, что он советский гражданин. Не отрицал он и того, что он полковник и работает

в разведке. Правда, его защитник Донован утверждает в своей книге, что Вилли не сказал ничего, что могло бы указать на его связь с СССР. Не знаю, что ему нужно? Он сам приводит слова Вилли о его любви к „матушке-России", его требование, чтобы суд протекал без ущерба для достоинства „человека, с честью служившего великой стране".

Другой пример: накануне суда Донован беседует с Абелем. Тот, ссылаясь на газетное сообщение из Москвы о том, что в СССР захватили латыша – агента ЦРУ, говорит, что, по его мнению, это „пробный шар", попытка „его начальства" намекнуть на возможность обмена.

Донован на это возражает, что какой-то латыш не может быть равноценным обменом. (Невольная ирония в том, что настоящий Рудольф Абель был латыш.) Вилли отвечает:

– Но я уже не имею прежней ценности для начальства. Ведь я больше не смогу выезжать за границу.

– Хорошо, – говорит Донован, – вы не сможете ездить. Но вы сможете делать не менее важную работу, оценивать получаемую информацию. По возвращении *в Москву,* вы, вероятно, станете начальником Североамериканского отдела.

Все называется своими именами, и никто не утверждает, что Абель приехал из Патагонии.

И тем не менее, А.В. Тишков, автор статьи „Рудольф Абель перед американским судом", пишет в журнале „Советское государство и право": „Абель никогда не признавал, даже в разговорах со своим адвокатом, что какие-либо его действия в США направлялись Советским Союзом".

Странно!

9. „НЕ ЗАБЫВАЙ, ЧТО МЫ НЕМЦЫ...”

Вилли умер 15 ноября 1971 года в онкологическом институте на Каширском шоссе в Москве. Умер от рака легких, давшего метастазы в позвоночник, в страшных мучениях, в полном сознании, мужественно и достойно.

Перед тем, как умолкнуть навеки, он шепнул дочери Эвелине:

– Не забывай, что мы немцы!

*

11 июля 1903 года выходящая по сей день в Ньюкастле-на-Тайне газета „Ньюкастл дейли джорнэл” сообщала:

„Пчела ужалила за ухом проходившего мимо сада железнодорожника Томаса Максуэлла, который через несколько минут скончался”.

„Спокойную ночь провел в местной тюрьме приговоренный к смерти Дугал. Он еще надеется на помилование. Позапрошлым утром он, однако, потерял самообладание, когда зазвонил тюремный колокол, оповещая о казни другого убийцы, Хоуэлла”.

„Его Величество Король Великобритании сообщил президенту Соединенных Штатов Рузвельту, что был счастлив принять американского адмирала Коттона, прибывшего в Англию во главе эскадры, и поднять вместе с ним тост за здоровье президента”.

„На приеме во французском посольстве подавали исключительно шампанское Поммери и Грено, урожая 1892 года”.

Было в газете и много других интересных сообщений и объявлений.

Ни строчки, однако, не было о том, что в этот день, в доме 140 по Клара-стрит, в семье механика Генриха Фишера родился сын Вильям.

А когда Генри Фишер получал свидетельство о рождении сына (копию этого документа я ревниво храню), клерк не воскликнул, пожимая ему руку: „Как? Вы – отец того самого Вильяма Фишера, который прославится как один из величайших шпионов века, будет под именем Рудольфа Ивановича Абеля осужден на тридцать лет тюрьмы, человек, о котором будут писать книги?! И вы – его отец! Разрешите от души вас поздравить!"

В ответ папа Фишер скромно потупился бы. Да, его сын будет славен. Будет многократно награжден орденом Ленина. Ленина! Политического и духовного учителя самого Генриха Фишера.

*

В двадцатые годы в Москве вышли воспоминания отца Вилли, Генриха Фишера.

„Родился я, – писал Генрих Фишер, – в 1871 году, в имении князей Куракиных Ярославской губернии, Мологского уезда. Родители мои были немцы, выписанные князем из Германии. Отец был скотовод и, по тогдашнему времени, ветеринар-практик. Были они вывезены из Германии еще до освобождения крестьян. Все время служили у Куракиных: отец – скотоводом, мельником, лесничим, пользуясь среди крестьян большим авторитетом как ветеринар, мать – как большая специалистка по куроводству. К ним за советом крестьяне приезжали

за 20-30 верст. Мать за свои труды получала натурой, отец также натурой, но только в другом виде: когда он ездил на базар, крестьяне считали своей обязанностью угостить его за то, что он помог отелиться Буренушке или Пеструшке, помог чалой кобыле ожеребиться, или за какие-либо другие услуги. Угощение обычно кончалось тем, что отца, мертвецки пьяного, укладывали в сани и направляли с лошадью домой. Они знали, что лошадь обязательно привезет его домой. Лошадь привозила его целым и невредимым".

Судя по воспоминаниям, не зарекался пить и Генрих.

Когда Генриху было лет шесть-семь, его из многодетной семьи взял на воспитание бездетный крестный, тоже немец. С другими немцами-металлистами крестный был вывезен для строительства Рыбинско-Бологовской железной дороги. Когда маленький Генрих попал к крестному, тот был начальником депо на станции Медведево, близ станции Бологое Николаевской, ныне Октябрьской, железной дороги.

Мальчика сразу стали пристраивать к делу. Он помогал варить обед, мыл посуду, чистил самовары и медную посуду, чинил белье, штопал чулки, колол дрова. Посещая школу, за плату давал уроки отстающим. На время каникул мальчика устраивали работать в контору за 13 рублей в месяц.

— Для того, чтобы хорошо выучиться работать, — говорил крестный маленькому Генриху, — надо быть вором.

— Не пойму, крестный, зачем быть вором?

— Учись воровать глазами. Если кто делает что-то, тебе неизвестное, смотри в оба и учись делать сам.

Этому искусству маленький Генрих научился и обучил потом своего сына Вилли. Я никогда не встречал человека, так легко перенимавшего все, что умел делать кто-нибудь другой.

А папа-Генрих, научившись обрабатывать металл и полюбив это дело, сразу, как только кончил городское училище, пошел учеником на завод и стал рабочим-металлистом.

В воспоминаниях Генриха Фишера постоянно встречаешь напоминания о его немецком происхождении. В детстве, школьником, он — как лютеранин — освобожден от посещения уроков Закона Божия; в воскресенье с семьей крестного он ходит в лютеранскую церковь.

В шестнадцать лет он, окончив городское училище, первую „взрослую" работу на заводе Гольдберга получает по объявлению в немецкой газете, которую крестный выписывал из Петербурга. И дальше сплошь да рядом читаешь замечания: „встретив знакомого немца", „управляющий был немец, и меня тотчас же приняли на работу".

Так, от немца к немцу переходил Генрих Фишер с завода на завод, не задерживаясь на плохих, подольше работая на хороших.

Описание некоторых заводов, например, завода Сименса и Гальске или завода Адмиралтейства мало похожи на стандартные представления о закопченных бараках и перемазанных рабочих. Там, в просторных, хорошо проветриваемых помещениях царили порядок и чистота.

Будь, однако, завод хорош или плох, будь заработок высок или низок, Генрих Фишер повсюду занимался одним и тем же: организовывал и просве-

щал рабочих, вел кружки, вдохновлял на забастовки.

Был он профессиональный революционер. Или, вернее, полупрофессиональный. Отдавая революции силы и время, он жил не за счет партии, а на свой рабочий заработок.

Откроем старое издание Большой Советской Энциклопедии. Страница 675:

„ФИШЕР, Генрих Матвеевич (1871-1935), один из первых русских рабочих-демократов, с-д., металлист. С начала 90-х гг. входил в рабочие кружки Петербурга; знал В.И. Ленина. Руководил рабочими пропагандистскими кружками. В 1889 арестован и привлечен к дознанию по делу группы народовольцев. Отбыл 3 года гласного надзора в Архангельской губ. и выехал в Саратов, где входил в „рабочий комитет" из ссыльных рабочих и участвовал в 1900 в издании печатавшейся на гектографе „Рабочей газеты". В 1891 (sic! – К.Х.) уехал* за границу и поселился надолго в Англии, где принимал участие в рабочем движении. Участвовал в организации склада оружия для отправки его в Россию. С образованием английской компартии вошел в ее ряды. В 1921 вернулся в СССР, вступил в ВКП(б). Работал на хозяйственных должностях".

Ленина Генрих Фишер действительно знал. Не слишком близко, но знал. В 1893 году в Петербурге встречался с ним по поводу только что вышедшей книги „Очерки пореформенного хозяйства", автор которой занимал неправильные, с точки зрения Ленина, позиции. Второй раз он его встретил в Лондоне. Это было 14 лет спустя, на V съезде партии.

---

*На самом деле в 1900 г.

„По сравнению с тем, как я знал Владимира Ильича раньше, в Питере, он мало изменился. Немножко более возмужал. Да за 14 лет мы все возмужали немного. Стал более солидным и взгляд его стал более проницательным. Вел он себя очень просто, со всеми разговаривал, кто к нему обращался, и никакого высокомерия по отношению к другим не проявлял. Одним словом, по наружности никак не походил на вождя. В нем ничего не было напускного, высокомерного, всего того, что сразу бросалось в глаза в некоторых других, например, Макдональде, Гайндмане, Троцком".

Знал ли Генрих Фишер уже в 1907 году, кто — *вождь,* причем „самый человечный из людей", а кто — далекий от народа, от пролетариата, высокомерный лжереволюционер? Или это понимание пришло к нему позже, когда, вернувшись в 1921 году в Россию, он с семьей поселился в Кремле?

Генрих Фишер всегда умел оценивать людей политически. И маленькому Вилли привил это качество с детства.

На V съезде партии, открывшемся в Лондоне 13 мая 1907 года, „Владимир Ильич познакомил меня с некоторыми делегатами, говоря им, что „вот он сумеет вам рассказать об английском рабочем движении". Я к этому времени действительно кое-что изучил на практике насчет английского тред-юнионистского движения".

Делегатам Генрих Фишер ничего не рассказал. До него дело не дошло. Хотя возможности английского рабочего движения он и впрямь изучил к тому времени досконально, не только став членом профсоюза объединенных машиностроителей, но и членом ньюкастльского социалистического общества.

Слово самому Фишеру:

„В то время – после 1906 года – у нас образовалась ячейка социал-демократической федерации Великобритании, а так как я оказался самым оседлым членом в Ньюкастле, то меня выбрали секретарем ячейки".

В этом качестве Генрих Фишер сближается с революционерами-латышами:

„Латышская социал-демократия налаживала транспорт нелегальной литературы, а также оружия в Россию".

Контрабанда шла из Ньюкастля, Сандерланда и Блайтса – портовых городов, куда заходили русские пароходы или откуда уходили пароходы в Петербург, Ригу, Либаву.

Дело расширялось. Втянули в эту затею англичан, сняли квартиры и конторы для устройства там складов.

„Приходит пароход из Антверпена или Гамбурга, привозит ящики с маузерами, браунингами и ружьями, с амуницией, ящики с литературой. Ящики распаковываются, груз перепаковывается в небольшие пакеты, которые можно нести в руках. Все это делается для того, чтобы их, когда придет пароход, можно было легче доставить на судно, приехав без задержки в поездах и трамваях. Перевоз взрывчатых веществ запрещался в пассажирских поездах. А ведь мы возили патроны ружейные и пистолетные..."

Как раз перед V съездом партии разразился скандал:

„Но вот произошла небольшая оплошность и все дело пошло насмарку.

Случилось это таким образом: имелся товарищ-англичанин в Сандерланде, у которого был неболь-

шой склад. Склад помещался в комнате одного холостого парня, который жил с родителями. Свою комнату он держал на запоре. Родителей разбирало, конечно, любопытство. Наконец отец подобрал ключ, произвел осмотр комнаты и нашел не то маузеры, не то браунинги, не то амуницию — хорошенько не помню. Конечно, пошел и донес в полицию".

Странно, что Фишер не приводит пикантных подробностей, которые описывает исследователь этого края, историк рабочего движения на севере Англии, Реймонд Чаллинор. Если сравнить оба источника, получается, что Фишер совмещает два различных эпизода.

Первый эпизод: один молодой англичанин прятал патроны под амвоном церкви и Блайтсе. Его дед был священником этой церкви и обнаружил тайник.

Второй эпизод: в городе Сандерланде торговец игрушками устроил склад в комнатке над магазином. Кто-то проник туда в его отсутствие.

Результат?

„Полиция раскопала всю нашу организацию. Привлечены были люди в Глазго, Эдинбурге, Ньюкастле-на-Тайне".

Ничего особенно страшного, однако, не произошло. Попавшихся привлекли к суду лишь за неправильное хранение патронов и взрывчатки, то есть за нарушение правил безопасности. Более того, изъятое оружие вернули, и Фишер отправил его в Лондон по нужным адресам. Привлеченные к суду отделались денежными штрафами, причем не очень значительными. А Фишер?

„Я по делу не был привлечен, но зато... мое дело

о принятии меня в английское подданство с треском провалилось и моя поездка в Россию была отложена на очень долгий срок".

Не очень, впрочем, и долгий. Вернемся, однако, немного назад:

В 1900 году после ссылки, во избежание новых неприятностей, Фишер решил покинуть Россию, где ему, как неблагонадежному, отказали в подданстве. Якобы репатриируясь в Германию, он поехал, однако, не на родину отца, а в Англию.

Почему? Прежде всего, в Германии пришлось бы служить в армии. Почему не в Америку? Далеко. Да Фишер за океан и не стремился. Он покинул Россию не в поисках счастья и богатства, а лишь для того, чтобы издалека заниматься свержением царя и совершением революции. В Англии, кроме того, были друзья.

В России с завода на завод он кочевал чаще всего по рекомендациям друзей и родственников немцев, а в Англию он приехал устраиваться уже по „партийной линии".

Дореволюционная политическая эмиграция селилась кучно. В Лондоне перед первой мировой войной проживало тридцать тысяч политических эмигрантов из России – столько же примерно жило в Париже. Во всю действовала эмигрантская взаимопомощь.

Фишера и его жену Любовь Васильевну встретили товарищи – русские и англичане, – и сразу позаботились о них.

Генрих Фишер не пишет, где он поселился с женой, по профессии акушеркой. Это не было, однако, в доме по Клара-стрит, где позже родился Вилли.

Вот его первые впечатления от Ньюкастля-на-Тайне, от его улиц и домов:

„Дома большей частью двухэтажные, стоят вплотную друг к другу, образуя сплошную стену в целый квартал одинаковой архитектуры и вида. Вход в квартиры прямо с улицы, как с передней стороны, так и с задворок. Двери расположены или попарно рядом, или по четыре; над каждой дверью отдельный номер. Есть улицы, у которых номера доходят до тысячи и больше. Значит, улица вмещает столько-то трех-, четырехкомнатных квартир. Внутренних больших дворов нет, а только маленькие дворики для каждой квартиры. На таком дворике повернуться негде, он скорее — место для домашних служб и проход и выход на задворки".

(На куцей Клара-стрит, где родился Вилли, номеров триста с небольшим, дверей по четыре рядом — нет. Все парные. Номера сто сорок нет — я не нашел — вся эта часть улицы снесена. Взамен старых домишек — современные трущобы. Но с удобствами.

Во времена Генриха Фишера удобства были относительные...)

Вскоре по приезде Генрих Фишер нанимается строительным рабочим, получает двадцать пять шиллингов за пятидесятичасовую рабочую неделю. А вскоре, с помощью партийных товарищей, переходит на завод Армстронга. Платят ему 36 шиллингов за пятьдесят три часа в неделю.

Фишеры зажили „лучше, чем ожидали, будучи в России". Вскоре заработок стал уже два фунта в неделю.

В воспоминаниях Фишера эти бытовые подробно-

сти и личные моменты еле всплывают в потоке слов „явка, переправка, шифр, „Искра".

„К тому времени у меня наладилось дело с товарищами-англичанами из местной социалистической организации. Один наборщик устроил кустарное приспособление для печатания конвертов вымышленных торговых фирм. В этих конвертах рассылалась „Искра". Чтобы не было так заметно, что это не письма, приходилось „Искру" завертывать в поллиста бумаги, исписанной рукописным текстом. Чтобы газета не топорщилась и была плотной, мы с женой ее немного смачивали, затем сложенную прокатывали сквозь бельевой каток".

Не участвуй жена, Любовь Васильевна, в прокатке партийной газеты через бельевой каток, вряд ли ей нашлось бы место в воспоминаниях большевика Генриха Фишера. Ведь пишет же он, что в Англию „мы прибыли с 36 шиллингами на троих", даже не указывая, что у него уже был первый сын, Дэвид, трагически погибший впоследствии после возвращения семьи в Россию.

А вот другая дата в жизни Генриха Матвеевича: „После Второго съезда партии, который закончился в Лондоне, ко мне в Ньюкастл заехал т. Шевалкин, который взялся наладить экспедицию нелегальной литературы через Норвегию и Архангельск... Т. Шевалкин сообщил мне, что в Архангельске движение среди рабочих сильно разрослось и до настоящего времени (1903 год) у них провалов и арестов там не было..."

1903 год – это год рождения второго сына – Вилли. Но об этом событии – ни слова.

И дальше: „В 1905 году в Ньюкастле-на-Тайне стоял на ремонте русский пароход „Смоленск".

Я снабжал команду нелегальной литературой, пропагандировал; мы на нем проводили всей семьей почти все свободное время".

„Всей семьей" – значит, вероятно, брали с собой и двухлетнего Вилли. Ни о нем, ни о жене – ни звука.

А крошка-Вилли рос, ходил в школу, играл в футбол, тайком курил в уборной. Уборная, разумеется, находилась во дворе. Вилли потрошил окурки отцовских сигарет, покупал папиросную бумагу и, запершись в сортире, курил самокрутки, уверенный, что никто ни о чем не догадывается.

Вилли было лет четырнадцать, когда, запустив однажды руку в тайник с курительными сокровищами, он вместо мешочка с окурками, бумаги и спичек обнаружил там – пачку сигарет. Тех самых, которые курил отец.

В тот день Вилли внимательно следил за выражением лица Генриха Матвеевича. Но лицо оставалось непроницаемым. И лишь когда мать вышла на кухню, отец украдкой подмигнул сыну.

Четверть века спустя Вилли несколько раз рассказывал мне эту историю:

– Отец мне тогда преподал урок настоящей выдержки!

Выдержка! И заговор отца с сыном!

Для Вилли отец навсегда остался образцом собранности, универсального умения, энергии и безоглядной преданности партии.

Это наследство он и принял полностью.

К способностям отца, умевшего делать все своими руками, даже готовить, Вилли добавил живопись и игру на гитаре. Отец умел играть толь-

ко на гармони. Его охотно приглашали на свадьбы и вечеринки.

Как великую честь воспринял юный Вилли возможность помогать отцу в его заговорщицкой революционной работе. Мальчишкой он уже раздавал листовки, бегал на „явки", „обеспечивая связь" как полноправный участник движения „Руки прочь от России". Вел пропаганду среди солдат и населения. Обо всем этом мне Вилли подробно рассказывал. А Генрих Фишер в своих воспоминаниях ни словом не упоминает о помощи сына.

Надо полагать, что уже когда началась первая мировая война, история со складами оружия была забыта. Папа-Фишер пишет о тех днях: „Началась шовинистическая вакханалия. Меня рассчитали с завода, на котором я проработал 13 лет, просто потому, что я немецкой национальности. Поступил на другой завод — оттуда с полицейским вывели. И все это несмотря на то, что я уже *принял английское подданство"* (выделено мной. — К.Х.).

Замечу, что способность искренне возмущаться как вопиющей несправедливостью любым неприятным поступком „чужих" Вилли унаследовал от отца полностью. Как он клеймил американцев за то, что арестовали его! Да еще при исполнении правительственного задания!

Особую активность семья Фишеров развивает после Октябрьской революции. Но когда советская власть укрепилась и кампания „Руки прочь от России" сворачивается, папа-Фишер подает заявление с просьбой выдать ему заграничный паспорт. Он хочет покинуть Англию.

А 21 июля 1920 года получает отдельный паспорт за номером 207393 подданный Короны Вильям Ав-

густ Фишер, родившийся от принявших британское подданство родителей 11 июля 1903 года в городе Ньюкастле-на-Тайне.

Пройдет несколько лет, и сын профессионального революционера, обрусевшего немца и британского подданного Генри Фишера, Вилли под своим именем и с подлинным паспортом вернется в страну, где он родился и вырос, чтобы начать именно там свой путь советского разведчика.

Его встретит во Франции, сопроводит через Ла-Манш и будет руководить какое-то время его работой старший товарищ по кличке Швед. Он же Никольский, он же Александр Орлов.

10. HOMO SOVIETICUS

„В России перед людьми из народа открыты все пути".

Эту пленительную мысль охотно повторяют на Западе.

В предвоенные годы на пролетарской окраине Москвы, что тянулась вдоль Шоссе Энтузиастов от Рогожской заставы до Измайловского зверинца, обыватель вздрагивал при имени главаря местных хулиганов, бандита Карзубого.

Настал, однако, день, когда бандюга влип в грязную историю и ему оказалось выгодно снюхаться с милицией. Снюхался. Вскоре на заводе „Серп и Молот", где Карзубый числился для прикрытия своих истинных дел, он был при поддержке органов выдвинут на руководящую комсомольскую работу. Уже под своей настоящей фамилией — Михайлов.

Вскоре Карзубого-Михайлова назначили аж первым секретарем ЦК ВЛКСМ, и стал он главой всей советской молодежи. И оставался им пятнадцать лет, пока его не сделали сначала послом в Польше, а затем министром культуры. Грамоте он научиться так и не успел. Дела, дела...

Сами „карзубые" любят говорить, скромно потупясь: „Я всем обязан родной партии". Тоже верно!

Пусть меня поймут правильно. История бандита Карзубого вовсе не означает, что в России власть захватили уголовники.

Это, разумеется, не так. В принципе не обязательно быть бандитом или проституткой, чтобы стать министром культуры СССР. Но ход истории неумолим, и как не сбыться гениальному провидению Ленина, что в один прекрасный день государством будут управлять кухарки. Полагаю, однако, великий вождь не думал, что настоящая кухарка, приглядывая краем глаза, чтобы не подгорели котлеты, будет просматривать проект Конституции или доклад министра обороны, готовясь к очередному заседанию правительства. Слова Ленина требуют, разумеется, толкования. Он наверняка хотел сказать, что советская система должна достигнуть (и достигла!) такого совершенства, когда любая государственная функция упрощена до предела и может быть доверена кому угодно.

Это возвращает нас, кстати, к великому принципу единства партии и народа.

С „гомо советикус" я впервые столкнулся в 1937 году в Испании. В Бенимамете мелькали начальники. Иерархический вес визитера можно было

определить по тому, как тянулся во весь росточек наш комбат, майор Корде (Константин Радзевич); как расправлял богатырские плечи и поглаживал усики, забывая, на какую раненую ногу надо хромать, капитан Леон Савин (Лев Борисович Савинков); как хихикал, потирая ручки, капитан Андрэ (Николай Поздняков), говоривший о любом начальнике: „Он прелесть! Он так меня любит!".

У меня же отношения с начальством вообще и советским в частности почему-то не клеились. Не находил я нужного тона. Я не понимал, что советские товарищи, истосковавшись по чинопочитанию, жаждут, чтобы им лизали зад, не понимал также голода на вещи и удивлялся, почему люди так заняты добыванием и закупками. Не знал, что каждый „выездной" должен из командировок привезти дань начальству. Не привезешь — больше не поедешь.

Запомнился отъезд на родину одного советника. Сам он сел рядом с шофером. Багажника не хватило, и весь салон машины был завален чемоданами. За легковой шла грузовая, так нагруженная чемоданами и сундуками, что осели рессоры.

Многие из этих пламенных большевиков не смогли даже воспользоваться накопленным добром. По возвращении в Москву их расстреляли или отправили в лагеря, а вещи пошли в закрытые магазины НКВД, где радостные сослуживцы раскупили их по дешевке.

Не все, однако, были стяжателями и рабами западных ценностей. Из советских шефов в Испании мне запомнился „Альфред" (Ваупшасов). Во время второй мировой войны он за руководство партизанскими операциями получил звание Героя Советского Союза.

Не произносивший никогда ни слова, он как-то особенно смачно и громко сморкался в пальцы, стряхивая сопли на землю широким жестом. А руку вытирал либо о собственный зад, либо, если бывал в помещении, о занавеску. Когда Ваупшасов по долгу службы бывал в испанских министерствах, там это производило большое впечатление.

Во вторую мировую войну, когда я снова встретил Ваупшасова под Москвой, я уже знал, что вещевое довольствие солдата Красной армии не включает носового платка, равно как и туалетной бумаги. Правда, офицерскому составу носовой платок положен. Но Ваупшасов был в душе демократ и сохранял солдатские привычки.

*

Для нового поколения советских людей Вилли был чужой. Да и для профессии своей он был чужой. Уже потому, что для него существовали нравственные категории и люди делились на плохих и хороших, на подлецов и честных, на любимых и нелюбимых.

С такими повадками карьеры не сделаешь.

И еще — наследие отца. Он не мог изжить дух „старого большевика", забыть о том, что привело его когда-то в разведку. Ведь многих его сверстников, или людей чуть помоложе, то есть людей моего поколения, в разведку СССР приводила та же тропа, что вела в ряды Интернациональных бригад в Испании, в ряды Сопротивления во время войны, в ряды компартий всего мира.

Я тоже принадлежу к поколению людей, которые долгое время думали, что присущие земному суще-

ствованию горькие тяготы могут быть исцелены через революцию, упраздняющую эксплуатацию человека человеком.

Но пока мы суетились по всему миру – в окопах Испании, в компартиях, в Сопротивлении, в бесчисленных резидентурах, там, наверху, в Москве, креп и мужал всесильный холодно-равнодушный государственный аппарат.

Железная метла предвоенных чисток задела Вилли краем. Его выгнали из разведки, и к началу войны – как я уже говорил – он работал инженером на одном московском заводе.

В минуту опасности родина, однако, не забывает своих верных сынов, и вскоре после 21 июня 1941 года его вызвали в ЦК и предложили снова работать в разведке. Он очень обрадовался, что люди его поколения нужны. Думал – что-то изменилось.

Облачившись в форму капитана государственной безопасности, Вилли Фишер всю войну честно трудился: обучал работе на ключе и общим концепциям шпионажа молодых нелегалов вроде меня, ездил по лагерям военнопленных, отбирал кандидатов для вербовки, подменял или контролировал немецких радистов, заброшенных в тыл советских войск и попавшихся. Иными словами – делал, что велят. Подчас немного ворчал.

В разговорах, в зависимости от настроения, проскальзывали разные оценки будущего. Иногда он утверждал, что после войны „многое изменится", что „будет лучше". Иными словами, вернут из ссылки, если уж не с того света, старых большевиков, соратников отца, и они снова займут ответственные посты, что лучше будет таким, как он, сыновьям старых большевиков. Что не так стремительно бу-

дут продвигаться по службе стяжатели и карьеристы нового поколения.

– Говно наш Вилли, – говорил мне в конце войны мой шеф по Четвертому управлению Миша Маклярский, – говно и ж...!

В несколько иных выражениях, но не более лестно, Вилли оценивал Маклярского. А ведь Михаил (Исидор) Борисович был человек немного плутоватый, но вовсе не злой. Любящий отец и заботливый муж, неплохой, по советским понятиям, товарищ.

Оба видели правильно, а судили несправедливо. Разумеется, Вилли был шляпа, а Маклярский – плут, но не столько в силу личных свойств, сколько от разницы поколений. И дело тут не в возрасте, – Вилли был всего года на три старше, – а в принадлежности к иной исторической эпохе.

Сын старого большевика-эмигранта, Вилли вырос в Англии, и выбрал, пусть под решающим влиянием отца, свои коммунистические убеждения.

Миша, сын одесского портного, которого он потом с трудом выдавал за рабочего от станка, ничего не выбирал, кроме карьеры.

А Вилли служил великой идее. Делал мировую революцию.

Вилли осторожно осуждал начальника управления Судоплатова за то, что тот гонял двух офицеров в какое-то подмосковное закрытое хозяйство возить ему оттуда на дачу яблоки.

Маклярский тоже переживал: как изловчиться в голодной Москве военных лет раздобыть яблоки, чтобы, по примеру Павла Анатольевича, кушать их по утрам для сохранения свежего цвета лица.

Смена эпох, поколений. Становление советской

разведки и советского общества, и торжество карзубых.

Торжество принципа: личные качества не имеют значения, а имеет значение преданность начальству, а также „соответствие" и „принадлежность". Соответствие новым стандартам и принадлежность к новой разновидности „гомо советикус", взращенного на последних достижениях единственно научной идеологии.

А идеология эта к концу войны сделала в сложной спирали своего развития принципиально важный виток, творчески вобрав в себя и марксистски переосмыслив и обосновав несправедливо забытый антисемитизм.

Любая разведка зависит от смены внешнеполитических союзов и целей, а также от перемен во внутренней политике. Но советская разведка зависит еще и от идеологии. А потому, когда в связи с новыми установками служба еврея в разведке стала таким же нонсенсом, как его служба по ведомству иностранных дел СССР, Вилли оказался вновь обречен на вылет.

Почему? Ведь он был немец. Верно. Но по анекдоту тех лет „отец индус, мать ирландка, в графе „национальность" пишите – еврей" , всякий, кто не был русским, на худой конец украинцем, находился под ударом.

Вилли ожидал увольнения.

По всем своим данным, по воспитанию, семейным традициям, психологии, характеру, привычкам Вилли был типичным нелегалом. А меж тем в годы войны в методах работы советской разведки произошел один важный, хотя не сразу замет-

ный, перелом, который не мог не сказаться на будущем моего друга.

В апреле 1943 года особые отделы, имевшиеся в Красной армии, но подчиненные НКВД, были реорганизованы в военную контрразведку СМЕРШ. На первых порах изменилось, как будто, немного. Особые отделы всегда следили, чтобы в частях Красной армии не было „разговоров", „нехороших настроений" и чтобы в них не проникали вражеские шпионы. Чем больше изловишь шпионов — тем лучше. Оформляй дела и не знай забот!

Какое это имеет отношение к Вилли Фишеру?

Вот какое. СМЕРШ обычно расшифровывают, как сокращенное „смерть шпионам". Мне, однако, припоминается из разговоров того же Вилли, что такая расшифровка была пущена лишь для прикрытия истинной аббревиатуры, чего-то вроде „специальные методы разоблачения шпионов".

В чем же была новизна?

В ходе войны обнаружилось, что простое вылавливание и уничтожение вражеских агентов приносит мало пользы и много вреда. Противник работал на этом участке тоньше и не без успеха. Тогда и превратили особые отделы в настоящую военную контрразведку во главе с Абакумовым, который уже подчинялся не наркому государственной безопасности или внутренних дел, а наркому обороны и Верховному главнокомандующему — Сталину.

Несмотря на устрашающую официальную расшифровку, новым в работе СМЕРШа было как раз не ужесточение методов дознания, хотя и это продолжалось, и не поголовное уничтожение „шпионов", а их совсем новое использование. Новым являлась массовая работа с двойниками, то есть за-

сылка агентов с заданием вербоваться к противнику и стремление, по возможности, перевербовывать вражескую агентуру.

Этот метод только начал тогда входить в случай. Начинались всякие „шпили", игры, в частности, радио-игры, которые вели подчас целые перевербованные и контролируемые группы немцев.

Помню, как Вилли, Рудольф и Маклярский несколько раз выезжали куда-то в район фронта именно для таких игр. Четвертое управление помогало СМЕРШу.

С годами метод развился, усовершенствовался. А к концу войны он настолько показал свою перспективность, настолько всех увлек, что впереди уже маячило почти полное исчезновение нелегалов. За ненадобностью.

Вилли и поэтому снова ожидал увольнения.

*

Когда на Потсдамской конференции Трумен сообщил Сталину, что на Хиросиму сброшена атомная бомба, на лице корифея всех наук не отразилось ничего.

О работах по созданию атомного оружия, ведущихся в США, Англии и Канаде, Иосиф Виссарионович давно знал, можно сказать, все. Добрый десяток ученых, ведущих в этой области исследовательскую и техническую работу, были коммунистами или, по крайней мере, антифашистами, и все, что знали, сообщали советским резидентам — либо прямо, либо через свои компартии.

И в 1942-ом и 1943-ем году, когда исследовательские и промышленные центры в Нью-Йорке, Чикаго,

Беркли и Лос Аламос вовсю развернули работу, разведка „доброго северного медведя" действовала там без серьезных помех.

Одна беда – теоретических знаний бывает подчас мало. Нужны еще и материалы. Так, в Москве были формулы и чертежи, нужен был еще уран.

Это было блаженное для советского шпионажа время, когда, по словам немецкого историка Герта Бухейта,

„коммунистические агенты участвовали в руководстве проводимыми Конгрессом расследованиями и помогали в составлении отчетов. Они давали советы членам правительства, писали за них доклады, представляли их на международных совещаниях. Они разъезжали по всему миру в качестве посланцев и представителей американского народа. Они участвовали в международных конференциях, где собирались государственные мужи, чтобы создать мир будущего..."

Блаженное для советской разведки время, когда Америка жила по заветам „великого президента" Франклина Рузвельта, верившего в „доброго дядю Джо", как в деда Мороза, и слушавшего советы коммуниста Хисса...

... Советская закупочная комиссия направила в Военное министерство США заявку на шестнадцать тонн урана „для медицинских нужд". Американцы вежливо отказали, заявив, что самим не хватает. Тогда глава закупочной комиссии генерал Руденко сам обратился к военному министру США Стимсону, настаивая на поставке по ленд-лизу шестнадцати тонн урановой руды и известного количества урана-металла. Министр снова отказал.

Тогда советская комиссия обратилась на частный рынок и нашла нужный уран и тяжелую воду. Не много, но нашла. Выдача разрешения на вывоз такого сырья зависела от правительства.

Разрешение было дано. Рассудили мудро: если снова отказать и не продать уран Москве, там могут, чего доброго, подумать, что в США уран нужен для каких-то особенных, тайных целей. Сам генерал Гров, начальник всех американских атомных затей, придерживался такой точки зрения.

А к моменту, когда в Америке подготовительная работа была закончена и взорвана первая атомная бомба, советские ученые уже располагали всеми нужными формулами, чертежами, описанием аппаратуры и технологии; из Монреаля были получены образчики урана-233 и урана-235. Все, как будто, было в порядке. Но знать, как делают другие, — одно, уметь сделать самим — другое.

В номере от 16 января 1946 года газета „Правда" писала в разделе „Хроника":

„Президиум Верховного Совета СССР удовлетворил просьбу Заместителя Председателя Совнаркома товарища Берия Л.П. об освобождении его от обязанностей Народного Комиссара Внутренних Дел СССР ввиду перегруженности его другой центральной работой. Народным Комиссаром Внутренних Дел назначен тов. Круглов Н.С."

Об опале тогда речи не было. А раз наркомом назначен Круглов, бывший заместитель начальника СМЕРШа и кандидат в члены ЦК, то верховное руководство „органами" остается за Берия, ведь Лаврентий Павлович — кандидат в члены Политбюро! А Государственную безопасность, где наркомом Меркулов, он и так курировал.

Что же это за „центральная работа" на таком уровне? Только одна: создание отечественной атомной бомбы.

Никто, кроме Берия, не мог такое дело возглавить.

Во-первых, кто другой мог обеспечить незамедлительное сообщение в Москву каждой мысли, рождающейся в секретных лабораториях США, Англии, Канады? Без шпионажа создание атомной бомбы в Советском Союзе задержалось бы минимум лет на десять.

Во-вторых, надо было подобрать лучших физиков страны и заставить их работать над обработкой добытых таким образом материалов.

В-третьих, обеспечить секретность.

В-четвертых — производство! В Союзе это не может обойтись без использования заключенных. Опять-таки нужен Берия!

В-пятых, наконец, нужна политическая фигура самого высокого ранга для принятия решений, обязательных для различных областей: технических, разведывательных и политических.

Например — обеспечить систематическое выявление, арест и доставку в СССР нужных для работы немецких специалистов-атомщиков.

Или случай с Бруно Максимовичем Понтекорво. Кто мог компетентно решить: продолжать ли ему работать в качестве источника информации или бежать в Москву, дабы на месте объяснять советским коллегам, что и как надо делать.

В данном случае Берия решил, что в лабораториях США „товарищи" управятся и без Понтекорво, и пусть он едет в Союз „считать физику".

Понтекорво отправился на каникулы в Финлян-

дию, исчез, а позже объявился в Москве, где заявил на пресс-конференции, что в Советском Союзе атом служит миру и бомб там не делают.

Позже Хрущев даже одолжил Понтекорво китайцам. Но уже перед самой ссорой. И Бруно Максимович был отозван, пробыв в Пекине меньше года.

В то время как многие ученые Запада открыто выражали сомнения в нравственной допустимости атомного оружия, с советскими учеными – кроме Капицы – этого не происходило. Нравственных возражений, публично по крайней мере, они не высказывали. Под руководством академика Игоря Тамма все рьяно принялись за дело. Тогда началась блестящая карьера молодого еще Андрея Сахарова, и менее блестящая тоже тогда молодого Вениамина Левича.

Когда все необходимые сведения были выкрадены и „творчески обработаны" отечественными учеными, надо было приступить к производству.

Оказалось, однако, что впопыхах забыли украсть документацию, связанную с антирадиационной защитой. Или украли, но еще не „освоили творчески".

Но и тут выручила бериевская хватка. Стали работать без защитных систем, отправляя на тот свет потребное в таких случаях количество заключенных, а заодно и вольнонаемных, рангом пониже.

Чтобы, к слову, вспомнить о непреходящей ценности шпионажа и вербовки агентов впрок, перейдем к нашим дням.

Был момент, когда у СССР возникли трудности с твердым топливом для ракет. Все, что нужно, было давно украдено, сейфы институтов Академии наук СССР ломились от добытой нашими славными разведчиками документации, а как до дела – ничего

не выходило. Не могли получить промежуточное сырье необходимой чистоты.

Кто-то, однако, сообразил, что этим сырьем является попросту некое химическое удобрение, которое в Советском Союзе, кстати, тоже делать не умеют, зато с успехом делают в США.

Старый друг СССР заключил с Москвой очередную „сделку века".

В СССР были спешно построены необходимые заводы, и производство твердого ракетного топлива с тех пор поставлено на поток.

Со стороны американского правительства возражений не было. Вероятно, из опасения, что отказ в разрешении на вывоз мог бы навести Советы на мысль, что химические удобрения могут быть как-то связаны с сырьем для топлива.

Я попытался языком профана пересказать то, что поведал мне один бывший советский специалист, пожелавший остаться неизвестным.

*

Лирическое отступление.

Когда в 1921 году Вилли покидал родную Англию, отправляясь в Москву, из России в Лондон выехал молодой физик Петр Капица.

Десять лет спустя Капица сделал блестящую карьеру, стал научной звездой мирового значения, жил и работал в Кембридже у Резерфорда и не собирался возвращаться в СССР.

Сталин, однако, решил, что Капицу следует вернуть домой.

Сначала действовали деликатно. Но письма коллег, официальные демарши советских представите-

лей, уговоры посланцев из России не достигали цели. Капица в Москву не ехал.

Тогдашнему советскому резиденту в Англии Орлову-Шведу пришла в голову мысль.

На жизненном пути Капицы встретился недавно приехавший из Советской России молодой инженер, англичанин. Молодой Вилли Фишер, женатый на русской, толковый техник, работяга, не только очень прилично говорил по-русски, но и знал условия жизни в Союзе. Он ведь несколько лет работал там по контракту. О стране, где Капица родился и вырос, учился, где оставил стольких друзей, молодой англичанин говорил без устали и с восторгом. Из его рассказов рождалась старая, как советская власть, картина: условия в России изменились, они уже не те, что были раньше. Там живется лучше, главное — дышится свободнее. Да зачем рассказывать? Самое лучшее — поезжайте, посмотрите сами.

Это говорил человек, который не мог быть заинтересован лично в том, чтобы склонить Капицу к поездке. Это говорил англичанин Вилли Фишер.

Теперь уже Капица по-иному слушал аргументы своих московских друзей: ведь их аргументы совпадали с тем, что он слышал от совершенно объективного советчика.

Он поехал. Назад его не выпустили.

О контакте с Капицей Вилли говорил мне еще во время войны. После возвращения из США он так изменился, что я даже не решился напоминать ему об этом неблаговидном задании его молодости. Один только раз, издалека, завел я разговор на эту тему — и сразу замолк, поняв, что Вилли неприятно и больно об этом вспоминать.

Когда возник и предстал перед американским

судом „полковник Абель", живший тогда в США организатор этой операции Швед-Орлов мог о ней рассказать.

Ну и что? скажете вы. В действиях Вилли в данном случае не было криминала. Да и времени прошло с тех пор немало.

Верно. Но произошел бы сдвиг перспективы. Оказалось бы, что для обаятельного и благородного, энциклопедически образованного „полковника Абеля" физика — не хобби, а часть подготовки к нравственно малопривлекательному заданию. Согласитесь: если человек научился играть на скрипке, потому что он меломан, — это одно, а если для того лишь, чтобы завоевать доверие своей жертвы, проникнуть в дом и зарубить топором, — это другое.

Кроме того, это было бы сильным ударом по системе защиты адвоката Донована, пытавшегося доказать, что его клиент не занимался атомным шпионажем.

Так, может быть, повременить с увольнением этого Фишера? Нос у него, правда, того... но он разбирается в физике...

11. ЗАЧЕМ НАДО ЕХАТЬ В АМЕРИКУ

И еще по одной причине нельзя было обойтись без общего руководства Лаврентия Павловича! Настала пора заняться коренной перестройкой системы советского шпионажа в США.

*

Признанием своей вины Юлиус и Этель Розенберги могли спасти свою жизнь. Но, несмотря на

неопровержимые улики, они до конца отрицали все, чтобы не бросить тень на Советский Союз.

Примерно в то же время, в Москве, уже арестованного – как еврея – Мишу Маклярского начальник следственной группы полковник Соболев бил бутылкой по голове, поучая: „Все вы, жиды, – предатели. Жидочки Розенберги предали свою Америку, а вы здесь предаете Россию".

Печать травила „космополитов". По Москве ползли слухи: на дальнем Севере строят новые лагеря, специально для евреев. Позже мне подтвердили, что действительно были созданы такие лагеря. На *треть* еврейского населения СССР. Не потому, что собирались выселить только треть, а потому, что *две трети* должны были не доехать до места.

Двусмысленное и потенциально опасное положение складывалось для советской разведки в главных объектах атомного шпионажа – в США и, отчасти, в Канаде.

Возьмем хотя бы группу связанных с Розенбергами советских агентов: Гольд, Бротман, Грингласс, Мошкович, Собелл (Соболевич). Имя руководителя другой шпионской группы: Яков Голос. Неужели потомки норманнов?

Нетерпимое положение. Во-первых, потому что, согласно новым установкам, евреям нельзя было доверять: все они по натуре своей предатели и агенты сионизма. Во-вторых, когда осуществится, наконец, в СССР окончательное решение еврейского вопроса, работающие в Америке на советскую разведку евреи могут разбежаться или снюхаться с контрразведкой.

С одной стороны, это хорошо – подтверждение идеологической установки и лишнее доказатель-

ство коварства иудейского племени. Но с другой стороны, это плохо: советский шпионаж разом лишится многих очень важных источников информации.

На самом деле подобные опасения были не вполне оправданны. Прошло много лет, прежде чем коммунисты и сочувствующие американские (и не только американские) евреи (и не только евреи) узнали, что творится в Советском Союзе. И прошло еще больше времени, прежде чем они поверили. А с выводами многие ждут до сих пор.

Для того, чтобы дрогнули коммунисты, нужно было не только узнать правду, нужно было еще, чтобы Москва устами Хрущева разрешила этой правде верить.

У американского писателя Говарда Фаста, коммуниста и еврея, о котором Вилли говорил мне, что „его литературная карьера нам „влетела в копеечку", сердце дрогнуло тоже далеко не сразу.

Существует мнение, будто такие явления, как антисемитизм, не касаются учреждений, подобных разведке. Приводят пример немецкого абвера во время войны. Разумеется, среди немецких шпионов бывали евреи. Но, во-первых, их было все-таки мало, а во-вторых, не будем забывать, что на Советский Союз люди, особенно в те годы, и особенно в США, работали из идейных соображений, а не за деньги. На Германию ни один еврей, полагаю, из идейных соображений все-таки не работал.

Но, кроме неудачного национального состава, работавшая в те годы в США советская агентура могла вызвать у московского начальства сомнения и по другим, подчас рациональным причинам.

Подавляющее большинство этих агентов были членами или бывшими членами компартии. Очень многие бывшими участниками гражданской войны в Испании. Они знали друг друга и имели опасную, с точки зрения шпионажа, тенденцию сбиваться в кучу. Работникам советской резидентуры приходилось сопротивляться желанию этих энтузиастов работать по бригадному методу „партийных ячеек". Это значило, что все члены коммунистической ячейки на каком-нибудь промышленном предприятии или в секретной лаборатории становились как бы коллективным агентом, объединяли добываемые сведения с тем, чтобы вручать советскому резиденту совместно составленные доклады. У московских конспираторов волосы вставали дыбом. Много таких примеров приведено в книге Далина „Советский шпионаж".

Участие в интернациональных бригадах большинства из этих американских коммунистов имело в свое время положительный эффект, позволив разом завербовать огромное количество агентов, но имело и отрицательный: большинство из них знало друг друга.

Когда я сам был в Испании, то, даже ни разу не встретив американскую бригаду Линкольна, все же знал, что там, вернее, *при* этой бригаде имеется некий Билл Лоуренс, работник „секретной службы", который отбирает подходящих людей для выполнения специальных заданий.

Все это делалось с чисто американской жизнерадостной бодростью и откровенностью. Не знал обо всех этих делах только глухой, слепой или равнодушный.

Почти то же можно сказать и о многих других

советских агентах, работавших в предвоенные и военные годы в США. Некоторых из них я встречал либо в Америке, либо потом в Москве. Курнаков, Познер, Вильга, братья Пален не были американскими коммунистами, но об их шпионской деятельности также знали очень многие.

Перед войной я наблюдал в Париже схожее явление. То же неумение или нежелание скрыть свое сотрудничество с советской разведкой – по крайней мере, от близких друзей, то же сбивание в „клуб" целых групп агентов вокруг связанного с „патроном" – то есть, с сотрудником посольства – „старшего товарища", та же наивная игра в конспирацию.

Много было причин у московского начальства считать, что так продолжаться не может. Понимало начальство, полагаю, и то, что в США власти не будут без конца на все взирать пассивно. И стоит при таких условиях кому-нибудь провалиться (что и произошло), чтобы у проницательных контрразведчиков возникла мысль (она и возникла): если в одной группе подобрались люди примерно одной формации, с одним и тем же прошлым, то, внимательно просмотрев людей с аналогичной биографией, обнаружишь схожие результаты. Маккартизм был реакцией на затянувшуюся доверчивую беспечность. Реакция естественная, как естественной была и ее очень американская форма: смесь наивности, демагогии и политиканства.

Для КГБ это пробуждение подозрительности было явлением в известном смысле положительным. Фиксируя внимание противника на каком-то стандарте, всегда легче скрыть от него истинное положение. И если можно было быть спокойным, что в течение ближайших двадцати-тридцати лет шпионов

будут прилежно искать среди коммунистов, евреев и бывших интербригадовцев, то это не так уж плохо. Надо только к этому приготовиться. А отказ от привычного контингента агентуры все равно уже назрел и диктовался новыми установками.

Ведь эта унаследованная в большой степени от довоенных времен агентура обладала еще одним крупным недостатком: эти работавшие на Советский Союз люди были в подавляющем своем большинстве бескорыстными идеалистами.

Не имея доступа к центральной картотеке КГБ, нельзя категорически утверждать, что именно бескорыстным, идейно преданным людям советский шпионаж обязан своими самыми большими успехами в прошлом, но вспомним: Фильби, Розенберги, „Красная Капелла". Какое обилие сведений, как мало денег, как много фанатизма и героизма!

Я вспоминаю людей, которых знал в молодости в Париже, а позже в Испании. Разумеется, некоторые из них были на жалованье у советской разведки: Эфрон и другие были, если хотите, платными агентами. Но они никогда не были наемниками, ибо работать против Советского Союза они не стали бы ни за какие деньги. Помню также, что в этой среде оценка человека всегда включала критерий его политической преданности и материального бескорыстия.

А в Москве я как-то сказал Льву Василевскому (Гребецкому, Тарасову), что Том Б., выкравший перед войной для советской разведки чертежи еще нового в те годы английского истребителя (он сделал это под влиянием старших партийных товарищей), – исключительно преданный парень.

– Ерунда, – презрительно поморщился Лев Пет-

рович. — Просто он оказался там, где был нам нужен.

Позже Том был одним из двух „нелегалов", которых Василевский взял с собой в Латинскую Америку, куда его послали во время войны то ли военным атташе, то ли консулом.

Отсюда я делаю вывод, что Василевский считал Тома надежным в любых обстоятельствах. Но, будучи человеком недалеким (бывший летчик, ставший личным охранником Сталина, пока не попал в ИНО за внешность и высокий рост), Василевский повторял то, что принято было говорить в то время.

*

А в то же примерно время генерал Яковлев из Первого управления готовил меня к нелегальной работе в Швейцарии.

Он учил меня, что вербовать лучше всего от имени другой разведки: американской, английской, французской.

Когда я что-то забормотал об идейной преданности, Яковлев не поморщился только из-за примерной своей выдержки. Но пояснил, что имея дело с людьми, желающими из идейных соображений служить Советскому Союзу, следует их как-нибудь скомпрометировать и запутать, чтобы лучше держать в руках.

Судя по Виллиным рассказам, такой подход — явление сравнительно позднее. Сам он вспоминал времена, когда среди советских разведчиков за границей, оперативников и агентов, царила атмосфера товарищеского доверия. Новые веяния его не устраивали. Он ворчал.

Причин же для этих перемен было много. Хотя бы смена поколений. Новые люди несли новые нравы. Но было и другое.

Человек, преданный идейно, считает себя вправе судить о чистоте идеи, замыслов и дел. А следовательно, и сохранять за собой какую-то долю свободы выбора. В этом отношении потенциально опасными для советского руководства были все, кто мнил себя имеющим моральное право судить его. Под эту категорию потенциально опасных подходили во внутреннем плане старые большевики, во внешнем — старые коминтерновцы и агенты, работающие из идейных соображений. Это зачастую были одни и те же люди.

Перед войной у Москвы было несколько неудачных опытов с бывшими коминтерновцами, ставшими работниками разведки: Игнаций Порецкий и Вальтер Кривицкий в ответ на процессы старых большевиков в Москве порвали с Советами.

Правда, люди этого типа чаще всего не становились врагами „родины трудящихся" и никого не выдавали. (С тех пор это изменилось.) Они ограничивались обличением Сталина как предателя дела революции. Но все равно — их приходилось выслеживать и убивать. Лишняя возня, хотя, с воспитательной точки зрения, и необходимая.

Так что новый подход к оценке агентуры объяснялся, хотя бы отчасти, процессом внутреннего становления советского режима, его освобождения от обременительной революционной фразеологии.

Кроме всей этой большой и малой политики и изменения характера советского режима, его очищения от наносных, преходящих элементов, его постепенного превращения в то, что он есть, — то есть в

самонастраивающийся, самообновляющийся и самоукрепляющийся аппарат власти, не имеющий вне власти ни цели, ни смысла, – есть еще необходимость строить здание такого всемирного размаха, как шпионская сеть КГБ, на чем-то более солидном, чем идейная преданность: на корысти, глупости и пороке.

После войны, когда работать по-старому Москва не хотела – да это могло быть и опасным, – надо было реорганизовать агентурную сеть. Смесь рациональных соображений, учета изменившихся обстоятельств, предвидения близких перемен и животного антисемитизма нужно было обратить в практические решения и действия, меняя на ходу шпионскую сеть на жизненно важном для Советского Союза участке.

Такую реорганизацию нельзя было осуществить только шифровками из Москвы. Ее надо было проводить на месте, проверяя участок за участком, упрощая аппарат, укрепляя его, устраняя неподходящие, слабые звенья, заменяя их другими, разделяя, где возможно, людей, друг друга знающих и потому, по мнению начальства, „снюхавшихся": под предлогом лучшей конспирации делать машину советского шпионажа в США более безликой и послушной при любых обстоятельствах. Были и другие соображения – о них впереди.

Товарищи „под крышей" не вполне годились для этой работы. В глазах местной агентуры они были московскими „бюрократами", живущими под защитой дипломатического паспорта в Вашингтоне, Нью-Йорке или Сан-Франциско, и не вполне знающими местные условия.

Такое задание мог выполнить лишь человек, ко-

торого шпионы-подпольщики, американские коммунисты, евреи, бывшие интербригадовцы приняли бы как своего, который был бы одним из них. Важная деталь: он мог бы походить на еврея, но ни в коем случае не быть им!

*

Перед отъездом Вилли инструктировал и напутствовал сам председатель Совета Народных Комиссаров СССР Вячеслав Михайлович Молотов, который в то время возглавил всю военную и политическую разведку СССР.

Не непосредственный начальник, не начальник Первого управления, им тогда, кажется, был Фитин, не нарком Государственной безопасности Виктор Абакумов, даже не заместитель председателя Совнаркома, куратор всех шпионских и атомных дел Лаврентий Павлович Берия. Нет – на ступеньку выше: сам Молотов!

Причем не просто принял для произнесения общих напутственных фраз типа „родина доверяет вам и надеется...", нет: он долго с ним беседовал и дал в его честь прощальный ужин, куда – небывалый случай! – были приглашены жена Елена Степановна, и дочь Эвелина.

Вилли уезжал, облеченный совершенно особыми полномочиями для выполнения особо важного задания. Задания не только (возможно – не столько!) разведывательного, но и политического.

*

В общественных местах Москвы агенты наруж-

ного наблюдения должны, в частности, следить за тем, чтобы советские граждане не пользовались уличной толчеей для передачи иностранным дипломатам, журналистам и прочим иноподданным государственных тайн или письменных жалоб на советский государственный и общественный строй.

В тот день дежурный по наружному наблюдению Ленинградского вокзала в Москве удивился, получив странный приказ: снять с постов всех своих людей и передать дежурство представителю Первого управления.

И только сотрудники этого управления видели, как к вокзалу подъехала черная машина с флажком „одной иностранной державы". Из машины вышел довольно высокий, худой человек с красноватым шмыгающим носом.

Шофер нес за ним чемодан. Среди следивших за этим агентов выделялась статная фигура Народного Комиссара Государственной безопасности Виктора Семеновича Абакумова. Нарком изображал филера.

12. ОТ ФИШЕРА ДО ГОЛЬДФУСА

Четырнадцатого ноября 1948 года в пять минут второго прибывший из Куксхафена в Германии пароход „Скифия" пришвартовался к причалу в Квебеке.

Тысяча пятьсот восемьдесят семь пассажиров сошло на берег. Эндрью Кайотиса не встречал никто.

Эндрью Кайотис предъявил паспорт: ему было пятьдесят три года, он родился в Литве, давно жил в США, принял американское гражданство; место жительства — Детройт.

В этом городе его еще помнили. За год до этого Кайотис решил навестить родную Литву. По приезде туда он заболел. Сначала он писал из больницы знакомым в Америку, потом перестал. Кайотис скончался. Вряд ли есть смысл сегодня спрашивать, умер ли он своей смертью. Важно, что с его настоящим, полноценным американским паспортом в Канаду приехал Вильям Генрихович Фишер.

Вилли легко прошел паспортный контроль и таможенный досмотр и без помех пересек границу США. Затем Кайотис бесследно исчез.

А в начале 1950 года в Нью-Йорке некто Эмиль Р. Гольдфус заключает и подписывает контракт на квартиру в доме номер 216 по 99-й улице.

На руках у Вилли было подлинное свидетельство о рождении Эмиля Гольдфуса. Он родился в Нью-Йорке 2 августа 1902 года.

Но когда Эмиля Гольдфуса арестуют под именем Мартина Коллинза, и на свет появится „полковник Рудольф Абель", то проверят архивы актов гражданского состояния, и окажется, что Эмиль Гольдфус прожил на свете чуть больше года и умер в октябре 1903 года.

Эмиль Гольдфус устраивается на новом месте. Если он с кем тогда и встречался, следов о том не осталось, если не считать многочисленных следов Эмиля Гольдфуса в соседних с его домом лавках, в газетном киоске, в местном отделении банка на 97-й улице. Первый взнос он сделал 12 июня 1950 года. Позже он будет регулярно вносить на свой счет небольшие суммы: по двести-триста долларов... Иногда снимает небольшую сумму. Это естественно для живущего на покое фотографа-ретушера.

Никто еще не знал, что такую же операцию он

проделывал тогда в разных банках, в разных частях города. Зачем? — С каждым днем больше становилось людей — лавочников, банковских служащих, торговцев газетами, — которые в случае чего могли бы сказать: „Да, это мистер Гольдфус, фотограф".

А в свободное время Вилли без конца ездит по городу, изучает все виды транспорта. Пересаживается с метро на автобус, ходит пешком, ищет удобные тайнички, подходящие места для личных встреч. Ведь ему предстоит отработать целую систему тайной связи и приучить беспечных энтузиастов ею пользоваться.

Вместе с тем Эмиль Гольдфус обрастает прошлым. Это еще не настоящее прошлое, но на первое время сгодится.

В 1951 году Эмиль Гольдфус снимает квартиру на углу Риверсайд и 74-й улицы. Квартира лучше прежней, с видом на Гудзон.

Его жизнь в этот период оставила уже следы вне круга киоскеров и банковских клерков. Он бывает у Лоны-Терезы Петка, американки польского происхождения, и ее мужа, еврея Мориса Коэна. У того за плечами — участие в гражданской войне в Испании, служба в американской армии во время второй мировой войны, многолетнее членство в компартии США. Морис — также старый сотрудник советской разведки, завербовавший, по словам Вилли, „всех, кто служил с ним в Испании".

В доме Коэнов Вилли знакомится с их молодым другом-американцем. С этим юношей, который знает Вилли под именем Мильтона, они будут продолжать встречаться и после того, как незадолго до ареста Юлиуса и Этель Розенбергов супруги Коэн бесследно исчезнут.

То ли где-то произошла утечка, и они, державшие до этого связь с Розенбергами, узнав о провале и неминуемом аресте,бежали, то ли уже приступивший к реорганизации аппарата Вилли успел изъять из цепи связи это особо опасное звено? Ведь кого бы из завербованных Морисом многочисленных агентов, рассеянных по всей Америке, ни арестовали, расследование всегда привело бы к его дому.

Но вариант, при котором бегство Коэнов лишь совпало по времени с арестом Розенбергов, – не будучи, однако, с ним прямо связано, – кажется мне даже более вероятным. По двум признакам. Имя Коэнов, как соучастников Розенбергов, всплыло задним числом, и фотографию их с надписью на обороте „Ширли и Морис" найдут у Вилли в момент ареста.

Мне, почему-то кажется, что если бы их отъезд был бегством, следствием провала Розенбергов, Вилли эту фотографию все же не стал бы держать дома. Да и следствие заметило бы ее. А если он вовремя „сменил предохранитель", заменил его другим, и Коэны, никем не обнаруженные, уехали – то почему не сохранить фотографию? Более того, если не стремиться во что бы то ни стало обвинять московское начальство, можно объяснить и то, что вскоре после их отъезда из США супруги Коэн были направлены на работу в Англию. Согласитесь, что если они замешаны в *провале* дела Розенбергов и их ищут – это одно, а если они из организации Розенбергов вышли *заранее* и благополучно уехали в Индонезию – это другое. Почему бы их и не послать в Англию?

А Вилли?

В конце 1953 года на пятом этаже семиэтажного

здания, известного под названием Ольвингтон Стюдиос, в Бруклине появился новый жилец. При подписании контракта он назвался Эмиль Гольдфус. Студию он снял только для работы, а поселился неподалеку в меблированной комнате.

Запомним, что к этому времени Вилли уже жил какое-то время под именем Гольдфуса на двух квартирах в Нью-Йорке. Везде показывался соседям и лавочникам, но знакомств не заводил.

Лишь в 1954 году, прожив в США шесть лет, Вилли по собственной инициативе зайдет к своему соседу, художнику Берту Сильверману:

„У вас была приоткрыта дверь, и я решил, что это хороший повод для знакомства".

И представился: „Эмиль Гольдфус".

А затем они вместе с Сильверманом пройдут в студию к Эмилю, где много законченных или только начатых картин и рисунков.

Гольдфус скажет, смущаясь:

„За годы работы ретушером я скопил немного денег и могу теперь заниматься только живописью".

Новый друг Вилли Берт Сильверман скоро введет его в круг своих друзей, молодых художников, писателей, журналистов. Так Эмиль Гольдфус сразу вырвется из своей многолетней изоляции.

(Из поучений Вилли и Рудольфа во время войны: „Самое лучшее прикрытие — соседи и знакомые".)

Причем он сразу стал членом довольно многочисленной компании. В дружеских непринужденных беседах то с одним, то с другим из друзей Берта, персонаж Эмиля Гольдфуса обогащается новыми штрихами, воспоминаниями, подробностями.

А для Вилли наступает самая счастливая и решающая пора его жизни.

*

С тех пор, как Вилли уехал из Советского Союза, чтобы реорганизовать советскую разведку в США, укрепить подпольный аппарат и подготовить его на случай войны, произошло очень много событий, изменился мир.

В 1949 году судорожные совместные усилия советских шпионов, американских коммунистов и советских ученых увенчались успехом. Взорвалась первая советская атомная бомба. Оказалось, что Молотов, возможно, и не блефовал, заявляя еще в 1947 году, что секрета атомной бомбы уже не существует. В США взрыв этой первой бомбы вызывает состояние шока. Большевики украли бомбу! Рухнуло чувство спокойной неуязвимости.

И в это же время в Китае приходится капитулировать, признать победу коммунистов, бросить (пока что почти) на произвол судьбы дорогого друга Чан Кай-ши. В Вашингтоне ползут слухи: американская политика в Китае провалилась, потому что в правительстве есть люди, через которых коммунисты влияют на его решения.

Как раз в это время, на стыке годов 1949 и 1950 несколько бывших американских коммунистов – среди них Элизабет Бентли и Уайтеккер Чемберс – публикуют разоблачения. Они рассказывают о своем участии в коммунистическом заговоре (то есть, фактически, в работе на советскую разведку) и называют имена: Хисс, Ремингтон, Джюди Коплон. Несколько советских служащих уезжают, обиженно

хлопнув дверью, — враги мира и дружбы между народами помешали им работать! Американцев тащат в комиссию по расследованию антиамериканской деятельности.

Начинается „маккартизм" — то, что в Советском Союзе (и не только там) назовут „охотой за ведьмами": период взрыва бдительности у людей, от природы доверчивых. А в результате — чувство вины и готовность к любым капитуляциям. Но это будет потом. А тогда, как назло, в Англии, в Канаде обнаруживают шпионов.

16 июня 1950 года арестован Дэвид Гринласс. На следующий день у себя на квартире в Нью-Йорке арестованы Юлиус и Этель Розенберги.

Розенберг — старый коммунист, многолетний сотрудник советской разведки, начинавший с промышленного шпионажа и перешедший к шпионажу политическому и атомному.

Суд над Розенбергами и их казнь превратится в потрясающую эпопею: смесь личного героизма, небрежной оперативной работы, бездарной политики и гениальной пропаганды.

В Москве их поступок расценивается в разговорах как очередное предательство „продажных жидочков", а во всем мире коммунистическая пропаганда извлекает пользу из каждого предсмертного вздоха этих людей.

20 июня 1950 года, то есть через несколько дней после ареста Розенбергов, войска Северной Кореи переходят тридцать восьмую параллель. Вскоре на помощь северокорейцам поспешат сотни тысяч китайских „добровольцев", что насторожит Москву, но не помешает ей развернуть по всему миру ярост-

ную кампанию, обвиняя США в применении в Корее бактериологического оружия.

Мир идет к новой войне. В Москве считают, что железо надо ковать, пока оно горячо. Советских военнослужащих уже давно, еще до разгрома Германии, начали учить, что следующий противник – американцы и их западные союзники. Армия еще не переведена на мирное положение, большая ее часть находится в Германии. Она за две недели может дойти до берегов Атлантики. Вернее, могла, если бы, у США не было атомной бомбы...

Нужность Вилли растет с каждым днем. Надо готовить аппарат к трудным условиям подполья военного времени, проверять и укреплять методы конспирации. Очищать аппарат от многочисленных евреев, многих переводить в резерв, оставляя их впрок, на будущее, когда их можно будет, припугнув, снова заставить служить. Работы много, и в октябре 1952 года Вилли получает помощника, майора государственной безопасности Рейно Хейханнена, по кличке „Вик".

5 марта 1953 года умирает Сталин.

Не знаю, плакал ли Вилли, когда свершилось непоправимое, и мировое коммунистическое движение осиротело. Но среди прочих многочисленных последствий эта смерть отразилась также и на его судьбе.

Уже и до этого в Центре произошли кое-какие перемены. В частности, провожавший Вилли Абакумов арестован в 1951 году и сидит в тюрьме. (Он будет позже расстрелян.) Расстрелян в июле 1953 года верховный шеф всех атомных дел, Лаврентий Павлович Берия. Избежал расстрела, но уже стал по-

литическим трупом инструктировавший Вилли и кормивший его на прощанье обедом Вячеслав Михайлович Молотов.

Таков краткий итог к этому жаркому маю 1955 года, когда Эмиль Гольдфус зайдет в студию к Берту Сильверману, тяжело опустится на стул, молча закурит. После затянувшейся паузы, когда молодой художник уже поймет, что с его другом что-то неладно, Эмиль скажет глухо:

– Бывают дни, когда необходимо выпить.

– Выпить хорошо в любой день!

И после нескольких фраз Эмиль скажет:

– ... иногда весной – бывает трудно.

Потом заговорит о другом и, словно мимоходом, скажет, что собирается уехать в Калифорнию, чтобы пристроить одно изобретение, позволяющее с одного негатива одновременно печатать несколько цветных фотографий.

Сильверман ничего не понимает в технике, ему неясно, зачем надо ехать в Калифорнию. Но он не возражает.

В самом начале июля, не зайдя попрощаться, лишь подсунув под дверь записку, в которой он сообщает, что вернется через несколько месяцев, Эмиль Гольдфус „уехал в Калифорнию".

13. ШПИОН СПЕШИТ ВЕРНУТЬСЯ В ХОЛОД

Он приехал в Москву. По делам и на отдых. Мы виделись с ним несколько раз, но по душам разговор не получался. Рядом все время была Елена Степановна, не отходила от отца и Эвелина.

А главное, я уже давно жил в состоянии внутрен-

него полуоцепенения, внешне приспособившись к окружающему меня советскому быту, внутренне отвергая его все сильней.

Уже много лет я систематически ограничивал себя технической работой переводчика. Сведение к минимуму всякого общения с людьми давно вошло в привычку.

Об этом я не мог говорить с Вилли.

А он не мог еще говорить со мной о глубоких психологических переменах, которые произошли с ним в Америке. И пройдет много лет, прежде чем он заговорит. Да и то осторожно. А тогда был 1955 год.

*

„Когда ты уходишь, – сказала мне мать, – Аннетт роется у тебя в столе".

Я раздраженно буркнул, что нельзя давать волю ненависти и походя обвинять человека черт знает в чем. Аннет роется!

(Многие годы эта женщина была моей женой.)

Разумеется, мать права. И я это знаю...

В моей московской квартире сразу звонили два параллельных телефона, и ни один не отключался, когда снимали трубку в другой комнате.

Аппарат зазвонил у меня на письменном столе. Я снял трубку на какую-то долю секунды после Аннетт, ответившей из спальни.

– ... Но я вас не знаю...

– Вы знаете Ивана Степановича. Я его заменяю.

– Мне сейчас не совсем удобно говорить.

Она подозревала, что я могу слушать. Ее молодому, неопытному собеседнику это, однако, не пришло в голову. Он не только повторил свои имя и от-

чество, но еще дал свой новый номер телефона. Три первые цифры принадлежали подстанции КГБ.

Зачем я записал имя и номер телефона? Разве я собирался что-то предпринять?

Когда, окончив свой короткий разговор, Аннетт под каким-то предлогом вошла ко мне в комнату, я спокойно работал за столом, телефонная трубка лежала на месте и ничто, казалось мне, не указывало на то, что я слышал разговор. Я даже лениво-равнодушно спросил: „Кто это звонил?" И услышал спокойный ответ: „Звонили с работы, напоминали, что завтра запись в два тридцать".

Оставшись снова один, я достал из кармана записку, отыскал в ящике стола футляр от авторучки, вынул подкладку, положил под нее записку, вставил подкладку на место, засунул футляр поглубже в ящик, завалил его всякой всячиной и запер ящик стола на ключ.

На следующий день, вернувшись с работы, я отпер ящик, достал футляр от авторучки, вынул подкладку. Записки с именем и номером телефона не было.

Разговор наш был тяжелый, медленный и, разумеется, я оказался обороняющейся стороной. Аннетт была совершенно спокойна и не думала что-либо отрицать. Обыски в моем столе? Мелочь, не стоящая упоминания!

— Не притворяйся и не играй в оскорбленную невинность. Ты знал. Ты все время знал!

Знал? Не знал? Не мог не знать? Мог ли не знать!

— Вспомни, ты мне сам сказал: „Посмотрим, кто будет дружить с Аннабеллой".

*

Это был, наверное, конец 1949 года. Переводчиков журнала „Новое время", где я подрабатывал, собрали на экстренное совещание. Поступило распоряжение сверху дать приложением к журналу на всех главных европейских языках – по-английски, по-французски, по-испански и по-немецки – только что вышедшую стотысячным тиражом в издании „Литературной газеты" книгу Аннабеллы Бюкар „Правда об американских дипломатах". На титульном листе значилось: „Перевод с английского".

Старший переводчик английского издания Левин (я с ним позже работал в Праге) сразу возликовал:

– Мы-то, надеюсь, дадим оригинал.

Начальство игнорировало его реплику. Проводивший совещание заместитель главного редактора отрезал сухо:

– К переводу приступайте сегодня же!

Чуть ли не день в день было выпущено тогда несколько аналогичных книг. Лейтмотив: „Не могу молчать!" Сотрудники различных иностранных посольств разоблачали в них свои правительства как заговорщиков против мира и просили, – правда, не всегда – политического убежища в СССР. Автора одной из таких книг, французского дипломата Жана Катала, написавшего книгу „Они предают мир", я немного знал, встречал его на радио.

В то же примерно время в доме напротив нашей тогдашней квартиры в Воротниковском переулке появилась новая, заметная жилица.

Высокая, с длинными светлыми волосами, в темных очках, элегантно, по московским понятиям,

одетая, она выходила гулять, толкая детскую коляску. При ней всегда находились два телохранителя. Один шел в двух шагах справа от нее, другой — сзади. Оба держали правую руку в кармане. Иногда ее сопровождал мордастый мужчина в очках в тонкой золотой оправе. Это была Аннабелла Бюкар, а мордастый мужчина — отец ее ребенка, опереточный артист Лапшин.

Потом мы узнали, что Аннабелла Бюкар будет работать на радио в отделе вещания на США.

Когда в сопровождении телохранителей (на самом деле, конвойных) Аннабелла появилась на радио, ее самой близкой подругой стала Аннетт.

В этой дружбе не было, для западного глаза, ничего странного. Обе работали дикторами. Обе — американки по рождению, дочери эмигрантов. Только родители Аннабеллы приехали откуда-то из Сербии, а отец Аннетт — из деревни Старый Батокаюрт, в Осетии. Он уехал в Америку на заработки в 1913 году, а вернулся домой в 1936 году с дочерью и двумя сыновьями. Мать — ирландка — осталась в США.

Ничего назойливого, ничего странного. Но я-то должен был понимать, что в те годы простой советский гражданин с таким человеком, как Аннабелла, сходиться не стал бы. И даже, сразу не поняв, разве мог я не задуматься позже: почему, тесно сойдясь с новой подругой, Аннетт никогда, несмотря на известное свое хлебосольство, не звала ее к нам в дом и ни разу не предложила мне пойти с ней в гости к Лапшиным.

Почему, заранее понимая, что дружить с Аннабеллой будет непременно агент, я потом вдруг перестал понимать очевидное, видеть явное? Более того, раз-

ве не от Аннетт я позже узнал историю Аннабеллы Бюкар? Историю ее бегства из посольства, историю написания книги. Ведь только дополнительные подробности получил я из другого источника — от моего товарища, диктора французской редакции Владимира Мешкова. А главное-то — от нее.

Ничего я не перестал понимать и видеть. Просто мне было удобней и выгодней закрывать глаза, делать вид, что ничего не замечаю. Лишь бы меня оставили вне игры.

*

Унылая история, хрестоматийный пример!

Как любого работника американского посольства в Москве, Аннабеллу предупредили, что советские граждане не имеют права с ней встречаться по влечению сердца, что всякий, кто к ней приблизится, почти наверняка — осведомитель.

Ей, возможно, даже сказали, что за знакомство с иностранцем, если оно не входит в круг служебных обязанностей, советскому гражданину положен лагерный срок. И срок вдвое больший, если он раскроет иностранцу существование такого закона.

Но слушая все эти наставления, Аннабелла, разумеется, думала, что если к ее необаятельному пожилому начальству люди подходят с корыстными помыслами, то к ней, молодой и привлекательной, все тянутся из чистой симпатии.

Вскоре она убедилась в своей правоте. Советские вовсе не боялись встреч с иностранцами. На концерте в зале Чайковского знакомый переводчик представил ей очаровательную молодую блондинку, арфистку, которая тотчас позвала ее к себе в гости.

Заранее зная ответ, стыдясь за себя и за своего недалекого посла, Аннабелла спросила:

– А разве это для вас не опасно?

– Неужели вы верите этим бабушкиным сказкам? – прыснула ее советская сверстница.

Аннабелла покраснела. Разумеется, она не верила этим сказкам. А придя в гости к новой подруге, она убедилась в том, что ее посольские коллеги клевещут и на условия жизни советских людей. Никаких коммунальных квартир, никакой скученности...

В бывшем, теперь разделенном на квартиры, особняке в Староконюшенном переулке молодая музыкантша занимала вместе с матерью отдельную двухкомнатную квартирку, – очень уютную, обставленную старинной мебелью.

Мой сослуживец, диктор французской редакции радио, бывший какое-то время одним из многочисленных любовников голубоглазой арфистки, рассказывал мне, что для всей этой истории срочно выселили соседей, занимавших вторую комнату и сделали во всей квартире ремонт.

А для Аннабеллы с этим знакомством началась новая жизнь. Приятельница не только звала ее к себе, она водила ее к знакомым москвичам, простым советским людям, которые радушно, ничего не боясь, принимали Аннабеллу. Они подчас говорили при ней о некоторых житейских неполадках, признавали, например, что не все мужчины вернулись с войны; но словно забывая об ее присутствии, увлеченно говорили о том, как много им дала советская власть, как уверенно они смотрят в будущее, как любят они свое правительство и лично товарища Сталина.

Она познакомилась с интересными людьми. У

подруги собирались друзья-артисты. Музицировали. Среди постоянных гостей бывал артист московского театра оперетты Лапшин, мужчина уже зрелый, в очках, придававших его несколько грубоватому лицу со следами глубоких переживаний и дум особое обаяние.

Он был обходителен, мил, предупредителен, и так отличался от молодых ребят, с которыми Аннабелла ходила по субботам на танцы в родном Питсбурге!

Для Лапшина же все это было рутиной. В московском театральном мире он был давно известен как безголосый певец и актер выдающейся бездарности. Зато природа одарила его иными качествами. И Второе управление не переставало прибегать к его услугам для „разработки" иностранок, дам из различных посольств, которые делались податливыми благодаря лапшинской неутомимости в постели — арене его патриотической деятельности. За глаза его звали Лукищев.

Вкрадчивое обхождение и профессионализм сделали свое дело. Бич московских любовников тех лет — отсутствие комнаты для свиданий — не существовал для наших героев. Вскоре Лапшин доложил по начальству: все в порядке — Аннабелла беременна.

Только с этого момента начинается, по сути говоря, серьезная игра.

Идут бесконечные разговоры: что делать? Признаться во всем послу и уехать в Америку? На этом настаивает Лапшин:

— Расстанемся навсегда, забудь меня! Ты избалована другой жизнью — уезжай!

— Никогда!

— Я не хочу жертв!

Говорят об аборте. Говорят долго, пока не выясняется, что срок упущен.

Аннабела очень тяжело переносит беременность. Ее мучают приступы рвоты и обмороки.

Однажды Лапшин пропускает свидание. К Аннабелле прибегает подружка-арфистка: любовник арестован!

Но в этом населенном добрейшими людьми мире все время происходят чудеса — арфисточка вместе со страшной вестью принесла записку от арестованного. Лапшин навсегда прощается со своей возлюбленной:

„Если кто-то должен платить за нашу любовь — пусть это буду я. Спасай нашего ребенка, уезжай. Пусть я погибну. Такова цена, которую мне суждено заплатить! Я был неосторожен, я говорил тебе вещи, которые ты рассказывала у себя в посольстве. У нас это называется измена Родине! Я знаю, что ты этого не хотела, но ошибку не поправишь, упущенного не вернешь! Прощай, я погибаю, а ты живи, радуйся жизни и воспитай нашего ребенка достойным человеком".

Почему-то ни до, ни после никому не удавалось из внутренней тюрьмы на Лубянке передать записку возлюбленной через приятельницу. Но откуда могла это знать Аннабелла?

Подруга-арфистка рыдает вместе с Аннабеллой. Обе в отчаянии. Но вот московская приятельница посветлела. Ей, кажется, пришла в голову какая-то мысль. Она, конечно, ничего не обещает, но у нее есть один друг, у которого есть приятель, который женат на сестре одного человека...

И тогда происходит конспиративная встреча

Аннабеллы с начальником Второго управления (контрразведка) генерал-лейтенантом Райхманом.

Генерал не скрывает, кто он. Наоборот, он говорит как представитель власти. Лапшин нарушил закон и понесет заслуженное наказание.

Первые попытки Аннабеллы доказать, что она всему виной, оказываются тщетны. Генерал не хочет верить, что только ее преступное американское воспитание, ее болтовня всему причина... Но что она может сделать, чтобы спасти человека, который ни в чем не виноват и гибнет из-за нее, как спасти себя, как спасти будущего ребенка?

В умных и усталых глазах генерал-лейтенанта Райхмана появляется теплинка сочувствия: он подумает.

Между тем, физическое состояние Аннабеллы становится все тяжелее. Скорая помощь увозит ее в советскую больницу в бессознательном состоянии. Когда американцы спохватятся, посольству ответят сначала, что никто не знает, где она; а позже, что она попросила политического убежища и не хочет видеть американских представителей.

В больнице вооруженная охрана находится не только в коридоре, но и в самой палате. Наезжает Райхман или кто-нибудь из его помощников, дают подписывать гранки книги. Она подписывает, не читая. Да и текст все равно по-русски, и она с трудом понимает. Лапшин еще не освобожден (на самом деле он никогда и не был арестован), но его вот-вот освободят. Наконец, он прибегает к ней, он рядом с ней, он говорит ей, что все будет хорошо!

А когда Аннабелла приедет с ребенком на новую квартиру на углу Старо-Пименовского и Воротниковского переулков, книга с ее фамилией на об-

ложке уже будет готова. „Правда об американских дипломатах" выйдет из печати.

В этой книге Аннабелла Бюкар не написала ни строчки.

Будем справедливы — гонорар за нее ей заплатили. Как и тем журналистам-международникам (шесть человек), которые ее сочинили.

Мой приятель, французский журналист, коммунист, проведший во время войны несколько лет в России, говорил мне, что когда они получили распоряжение напечатать книгу Аннабеллы Бюкар в газете „Се суар", то им пришлось попыхтеть. Ведь при переводе липа шибает в нос еще сильнее. Написана же книга по канонам самой плохой советской журналистики: грубые политические обобщения, обвинения США в разжигании военной истерии и подготовке нападения на СССР. Сплетни о сотрудниках американского посольства, собранные на уровне замочной скважины советской прислугой; слюнявые восторги „автора" перед советским образом жизни.

И отвратнее всего — куски мнимой автобиографии.

„Как мать, — говорится в этой книге, — я смотрю вперед, чтобы увидеть, в каком мире будет жить мой сын. Как мать, я сознаю, что будущее принадлежит Советскому Союзу и что мой сын будет жить более яркой, более полной жизнью, чем он мог бы жить где бы то ни было в другом месте мира".

Когда я уезжал из России, сын Аннабеллы Бюкар, Миша Лапшин, отбывал второй срок где-то на севере — по уголовному делу.

Прошли годы, Аннабелла давным-давно знала — такую вещь невозможно не знать, — что ее муж сблизился с ней когда-то по указанию Второго уп-

равления КГБ, что ее душераздирающий роман был от начала до конца, во всех деталях и подробностях подстроен, следовательно, фальшив, что все было ложью. Она, вероятно, давно поняла роль, которую сыграла в ее жизни подруга-арфистка. Но она продолжала с ней видеться. И с мужем не разошлась. Так и прожили жизнь. Семья, как семья!

*

Когда Надежда Яковлевна Мандельштам выгнала из дому молодого литератора, укравшего у нее уникальное издание стихов ее мужа, многие пожимали плечами: „Подумаешь! Все воруют книги".

Одичание, забвение элементарных правил общежития таковы, что, не прибегая к доводам разума („узнают — выгонят, а то и морду набьют"), вы чаще всего не сумеете объяснить советскому интеллигенту младшего или даже среднего возраста, почему нельзя вскрывать письма, адресованные другому, или рыться в чужих вещах. Почему?

Площадная брань в быту, хамство, общая разболтанность — все это имеет некоторые явные корни: постоянная близость лагерного быта, скученность и общая неустроенность, рождающие крохоборство и озлобление. Вежливость, предупредительность давно воспринимаются как слабость или угодливость.

Непомерно взвинтив цену на „искренность", на простоту и открытость отношений и нравов, доносительство, пусть косвенно, добавило к этому букету душистый цветок.

За то, что человек „не стучит", ему в Советском Союзе готовы простить грубость, безделье, нечест-

ность в денежных делах, распущенность, неспособность держать слово или хранить доверенную тайну.

А не стучит-то он подчас лишь потому, что не предложили.

Сколько придумано формулировок, чтобы сделать приемлемым неприемлемое. „Он на своих не стучит", „он стучит только на иностранцев", „он стучит не по доброй воле!"

Скольких я знаю молодых людей, ставших осведомителями ради того, чтобы поступить в институт, или удержаться в нем, или получить хорошее направление при распределении. А „стук" ради того, чтобы ездить в капстраны – это и за „стук" не идет!

Сколько принимал я у себя в доме людей, о которых знал доподлинно, что они стучат!

В Союзе мы настолько привыкли к этому, что почти и не замечали.

(Прочитав еще в рукописи „Воспоминания" Надежды Яковлевны Мандельштам, я сказал ей, что о двух людях, которых она тепло вспоминает, я бы писал суше. Ведь я знаю, что оба были агентами. К ним меня посылал Маклярский.

– Ерунда, Кирилл, – махнула она рукой. – Они уже оба умерли. И не они убили Осю.

И не изменила в книге ни строчки. Подумав, я решил, что Н.Я. права. Большинство секретных сотрудников не виновато в смерти Осипа Эмильевича Мандельштама. Виновата система доносительства.)

Мы настолько к этому привыкли, что, уже выехав из СССР, продолжаем походя говорить о людях „агент", „стукач", подразумевая чаще всего внутреннего доносчика, а не разведчика. „Паранойя! – морщатся наши западные друзья. – Этим новым эмигрантам всюду мерещатся агенты". И потом до-

бавляют сочувственно: „В этом страшный приговор режиму, породившему такой психоз!"

Если бы психоз! Просто увидев однажды, как на загадочной картинке среди ветвей и оленьих рогов появился невидимый на первый взгляд охотник, мы постоянно вперяем в него глаза.

*

В свой единственный приезд в отпуск в 1955 году Вилли говорил мне с некоторой горечью о переменах, происшедших в его отсутствие в Первом управлении, о непомерно разросшемся аппарате, о молодых, чуждых ему работниках.

Жаловался, что работу которую они, в дни его молодости, делали впятером, теперь делают двести человек; что для включения в шифровку одного абзаца требуется подпись начальника отдела.

Я жалею, что не очень внимательно слушал его отрывочные рассказы. Мне хотелось расспросить его об Америке. Но я должен был делать вид, что не знаю, где он работает. А он притворялся, что не говорит мне этого, полагая не без основания, что я и так могу догадаться — по одежде, по сигаретам, по вилке на электрической бритве. И по рассказам, как будто к делу не относящимся: о курсе доллара в Мадриде, об отношении к американцам во Франции.

Было ясно, что живет он по американскому паспорту.

А самым его сильным впечатлением от проезда через Европу был фильм Тати „Каникулы господина Юло́", который он смотрел в Париже и от которого

был в восторге. Без конца о нем рассказывал. По-моему, он хотел походить на Тати.

Косвенно намекая на суть своей работы, он несколько раз говорил мне, что все американские научные секреты очень быстро просачиваются в специальную печать и что его работа не очень нужна.

Позже я узнал от него, что то же самое он говорил тогда своему начальству. Говорил, вопреки собственным интересам, ведь ему, я думаю, так хотелось вернуться в Бруклин.

Он подробно рассказал им о своих сомнениях относительно Хейханнена.

Много было причин не посылать Вилли обратно в Нью-Йорк.

Возраст: ему было уже пятьдесят пять лет, его полезность падала с каждым годом.

Обстановка: перспектива длительного мира и мирного проникновения делала такого типичного нелегала, как Вилли, не очень нужным. Никто уже не думал о близкой войне, менялись методы шпионажа. Открывались небывалые перспективы мирных и легальных способов проникновения и влияния.

Кроме того, Вилли возвращаться было и опасно. Из-за Хейханнена.

Он вернулся. А через два года его арестовали.

Неужели для этого его и отправили обратно?

14. ДОКТОР ДЖЕКИЛЬ И МИСТЕР ХАЙД

Человек шел мимо строящегося дома. Сорвавшийся с лесов кирпич просвистел мимо его головы и шлепнулся на землю.

Ощутив дуновение близкой смерти, человек в мгновенном озарении понял тщету и бренность своего существования, остро ощутил нестерпимость своей осточертелой обыденности. Он понял, что нет у него сил вернуться к постылой работе банковского клерка, переступить порог убогого, купленного в рассрочку загородного домика, где его ждут орущие дети и глупая болтливая жена. Ему опротивела до тошноты его стандартная, такая, как у сотен тысяч других американцев, машина.

Никого не предупредив, не заходя домой, человек уехал из родного города, чтобы начать новую жизнь.

Через несколько лет посланный по его следам сыщик страховой компании нашел его в другом городе, в далеком штате.

Человек жил в пригородном домике. У него была глупая и болтливая жена, орущий ребенок, стандартная машина. Он работал в конторе по продаже недвижимости. Зарабатывал столько же, и работа почти не отличалась от прежней. Трудно убежать от самого себя.

Страстный поклонник Дэшьеля Хэммета, Вилли давал мне читать его роман, где рассказана эта история.

Под именем Эндрью Кайотиса Вилли въехал в США. Там он становился то Мильтоном, то Марком, то Мартином Коллинзом, то Эмилем Гольдфусом.

Пока не стал полковником Рудольфом Абелем.

Куда девался при этом Вилли Фишер?

В Соединенных Штатах о моем друге писали в свое время много. Огромное количество газетных сообщений, статей, две книги: „Незнакомцы на мо-

сту" Джеймса Донована и „Абель" Луизы Берниковой. Эту книгу, написанную на основании воспоминаний соседей и друзей „Эмиля Гольдфуса", я читал и перечитывал сначала в Москве, где мне их давал Вилли, потом уже на Западе. Сравнение с оригиналом и между собой этих двух добросовестных и подчас проникновенных портретов учит нас многому.

*

Обедали. Вилли рассказывал о своей жизни заключенного № 80016-А в федеральной тюрьме города Атланта. Приводя какой-то забавный или поучительный эпизод, привычно обронил: „У нас в тюрьме..."

— Папка, — сказала Эвелина, — это же была не тюрьма, а санаторий!

Вилли что-то недовольно буркнул, переменил тему. А через несколько минут, не совсем кстати, начал поносить пенитенциарную систему США, разоблачать классовый характер американского правосудия, условность тамошней конституции, которая, мол, только для богатых.

Но вот, забыв сентенции, он оживился и снова начал рассказывать, как занимался в тюрьме шелкографией, как рисовал портрет президента Кеннеди. По ходу рассказа он охотно вспоминал корректность тюремной администрации, ровное поведение надзирателей, добротность еды и одежды, чистоту в камерах, и задним числом гордился тем, что даже среди заключенных многие называли его „полковник".

Но не надо было требовать от него признания, что американская тюрьма не уничтожает человека физически и морально.

О защитнике своем он всегда говорил очень тепло и признавал его полную профессиональную добросовестность. Вилли даже не отрицал, что осудивший его на тридцать лет судья Байерс действовал в рамках закона.

Было, однако, напрасно пытаться ему доказывать, что, произойди с ним такое же в Советском Союзе, навязанный ему местный адвокат утопил бы его, что приговор продиктовали бы суду „директивные органы". Вилли считал такое положение правильным.

Когда, выслушав в очередной раз рассказ о том, как его пришли арестовывать, я заметил Вилли, что в СССР вряд ли стали бы так церемониться, Вилли взвился:

— Они вообще не имели права врываться ко мне и делать обыск, да еще поручать это иммиграционным властям, когда за всем стояло ФБР! Вопиющее беззаконие!

В отношении скрупулезного соблюдения Конституции США мой друг Вилли был крайне щепетилен. Вообще же в этих вопросах умел проявить широту ума и формалистом не был. Когда подельнику Пеньковского дали восемь лет, он бушевал:

— Идиоты! Церемонятся! Пошли на поводу у прокуратуры. Мало ли, что не было доказательств. Надо было дать этому Уинну „вышку", держать его в камере смертников, нагнать на него страх Божий. Тогда англичане заговорили бы иначе.

Речь шла о вызволении из английской тюрьмы его друзей – Лоны и Мориса Коэн, и Вилли потирал руки, когда ему сказали, что месяца через три найдут кого-то другого для обмена.

Через четыре месяца в Москве арестовали англичанина Джеральда Брука, которому дали пять лет лагерей. Вилли считал такие методы нормальными. А через пять лет, когда Брук заканчивал срок, Вилли ликовал, что решили пригрозить: или обмен на Коэнов, или Брук получит дополнительных двадцать лет за шпионаж в лагере! Подозреваю, что Вилли сам этот ход и подсказал.

Как советский шпион и как коммунист, в вопросах политических Вилли не мог мыслить иначе. Ведь он с детства усвоил ленинскую мораль: нравственно то, что выгодно.

А долгая жизнь советского шпиона приучила его проводить четкую грань между наблюдением факта и передачей о нем информации, с одной стороны, и оценкой этого факта, отношением к нему, с другой.

По долгу службы он должен был объективно наблюдать окружающую его действительность, беспристрастно информировать Центр. Но как советский человек и коммунист, он должен был регулировать свое отношение к этой действительности соображениями „партийности". Он не должен был никогда забывать, что мир за пределами Советского Союза порочен по сути своей, исторически обречен и подлежит уничтожению. И что он, Вилли, призван это исторически необходимое уничтожение по возможности ускорить.

Боже упаси делать отсюда вывод, что Вилли был кровожадный, воинственный человек. Напротив, как все советские люди, он был „за мир". То есть за

уничтожение окружающего СССР мира не военными средствами. И только в случае сопротивления...

Начальник федеральной тюрьмы в Атланте, Фред Уилкинсон, ставший позже заместителем начальника управления тюрем США и принимавший участие в обмене Вилли на Гарри Пауэрса, много беседовал с заключенным 80016-А. По его мнению, „полковник Абель" был неспособен оценить прогресс. Он, например, упорно обвинял американцев в грехах, давно ими осознанных и искупленных, клеймил давно изжитые порядки. Уилкинсон видел в этом интеллектуальную слабость „Абеля", которого в остальном считал человеком умным.

Ум или глупость тут ни при чем. Уилкинсон просто не знал и не мог знать емкого слова „партийность".

Этой „партийностью" „полковник Абель" был щедро наделен. И в книге Донована, который общался именно с „Абелем", примеров такого подхода сколько угодно. Именно эту черту своего характера Вилли намеренно подчеркивал и усиливал, исполняя роль сурового советского офицера.

Да, такая черта у Вилли была. Но, очевидно, не врожденная, а нажитая, под самый конец жизни она стала исчезать.

Почему эта черта отсутствует у другого, сыгранного Вилли в США персонажа: у пенсионера-фотографа Эмиля Гольдфуса? Неужели Вилли скрывал свои чувства в роли Эмиля и Гольдфус менее соответствовал его настоящей натуре, чем „Абель"?

По-моему, наоборот. Именно Эмиль Гольдфус, такой, каким мне удалось его увидеть глазами его друзей и соседей по Фультон-стрит в Бруклине, неотличим для меня от Вилли Фишера, в самых луч-

ших и человечных его проявлениях. Было у Вилли одно качество – редкое и ценное, которое всю жизнь делало его „белой вороной" в шпионской среде, качество, единственно способное противостоять инерции его „партийного мышления" и позволившее ему избежать нравственного склероза, качество, которому он позволил расцвести в Бруклине, способность к дружбе, к теплоте и искренности, к человеческим отношениям, свободным от утилитарных и корыстных соображений. Это свойство уже само по себе делало его, по сути дела, непригодным для неосторожно избранной в юности профессии. Оно в последние годы и увело его на расстояние световых лет от того, чему он напрасно отдал свою жизнь.

И произошло это потому, что, прожив несколько лет жизнью Эмиля Гольдфуса, он, оставаясь Вилли Фишером, вынес свою „партийность" за скобки и она ему самому стала постепенно чуждой.

Уже после его смерти я узнал от Елены Степановны, что, когда Вилли вернулся из США, начальство Первого управления в самой настоятельной форме предложило ему перестать со мной встречаться. К тому времени досье на меня в КГБ уже начинало, полагаю, принимать угрожающие размеры.

Вилли категорически отказался выполнить это требование, уступив лишь в одном: я не буду встречать у него в доме сотрудников его „конторы".

Это условие выполнилось само собой, ибо я сам избегал его сослуживцев. Так, я никогда не встречал у него „Бена", то есть Конона Молодого (Лонсдейла). А „Питера и Лону" Коэн случайно встретил всего один или два раза, пока не напоролся на них – и не только на них! – на поминках по Вилли, о которых речь впереди.

И точно так же, как не коснулась „партийность" нашей с ним многолетней дружбы, так не влияла она никак на искренность его отношений с его соседями-художниками в Бруклине, и в первую очередь с Бертом Сильверманом.

Конечно, Эмиль Гольдфус тоже в какой-то мере фиктивное лицо, легенда. Но сравним этот персонаж с действительностью.

Сын немецких эмигрантов Вильям Фишер родился в Ньюкастле-на-Тайне в Англии, 11 июля 1903 года. Сын немецких эмигрантов Эмиль Гольдфус родился в Нью-Йорке, в США 2 августа 1902 года.

Разница — в год. На всякий случай сохранено немецкое происхождение. „В нем было что-то европейское" — будут говорить его американские друзья.

— Лучше всего, — поучал меня Вилли (а его в свое время поучал Яков Серебрянский), — когда легенда — лишь чуть-чуть причесанная биография. Тогда она легко обрастает совпадениями и деталями. Можно, походя, вспомнить какой-нибудь не выдуманный эпизод и он укрепит легенду. Из деталей рождается достоверность.

Эмиль Гольдфус рассказывает своим нью-йоркским друзьям — случайно, к слову пришлось, без подробностей, полунамеками:

в Бостоне он когда-то ухаживал за девушкой — она играла на арфе в небольшом оркестре. „Я тоже научился пощипывать! Она не хотела играть, если не я настраивал ей инструмент!"

Друзья, слушая несколько меланхолический рассказ, замолкают. У Эмиля в прошлом скрыта личная драма. Ведь раньше он никогда не говорил об этой женщине... Из деликатности его больше не расспрашивают. Зачем бередить старую рану? А Вилли

Фишер может теперь спокойно показывать свое знакомство с арфой и миром профессиональных оркестрантов.

Его жена, Елена Степановна Лебедева, до выхода на пенсию служила арфисткой в оркестре Московского цирка. И когда труппа выходила на парад-алле, в оркестре каждые 16-ть тактов звучали ее аккорды. А Вилли – таков уж был у него характер – конечно, научился немного щипать арфу.

Кстати, я с радостью узнал, что в Америке он так же, как и в Москве, любил повторять: „То, что один дурак умеет делать, сумеет и другой". И кофе он варил в Москве по тому же способу, что и в Бруклине, уверяя, что от такого кофе начинают виться волосы.

Он постоянно чему-то учился. Не знаю, был ли он настоящим специалистом в какой-то области: был ли он стоящим математиком, физиком, художником? Мне кажется, что не был... и потому особо уважал подлинное мастерство и стремился к нему.

И он не случайно попал в то окружение, в котором жил в Нью-Йорке. Он выбрал эту среду. Возможно, посоветовавшись со своими друзьями Морисом и Лоной Коэн.

Этот выбор определялся многими факторами. Вот некоторые из них – те, о которых мне говорил сам Вилли.

Среда должна быть относительно скромной, но не бедной. Не только из-за скаредности московского начальства, которое не любит чрезмерно раскошеливаться на содержание агентов не очень высоких званий, а потому, что люди, занятые деланием денег, зорче присматриваются к соседям, менее доверчивы. К тому же, чрезмерный материальный достаток труднее объяснить, чем относительно

стесненные обстоятельства. Нельзя, однако, и жить слишком низко по социальной лестнице. Там вам будут заглядывать в карман.

Среда — поскольку речь идет не о среде наблюдения, а о среде проживания, — должна максимально соответствовать интеллектуальному уровню и интересам агента. Иначе возникает большое напряжение: надо либо тянуться за окружающими, либо скрывать свой интеллектуальный багаж. Это еще труднее. Прослыть же среди малокультурных людей всезнайкой и снобом — просто опасно.

Уже задним числом, много лет спустя, нью-йоркские друзья Вилли додумались, что он неудачно выбрал профессию фотографа-ретушера. Слишком, мол, он был культурен для такого занятия. Возможно, тут при планировании сказалась разница социального уровня этой профессии в США и в СССР. Вилли, может быть, допустил маленький просчет, мысля советскими категориями: мол, художник-неудачник, ставший ретушером. Но есть профессии, до которых в одних странах дорастают, пройдя специальное обучение, в других опускаются до них.

Но вообще говоря, не такой уж плохой выбор. Более почетное занятие, связанное с профессиональной карьерой, оставляет следы: диплом, практика. Оставляет часто следы и деловая деятельность.

Так что выбранная Вилли профессия почти идеальна. Она, например, убедительно объясняет знание фотодела и аппаратуры, умение рисовать, интерес к живописи и ко всевозможной технике. Она сразу ставит человека в категорию мастеровых, портных, наборщиков, механиков, краснодеревщиков, из которой выходят изобретатели, мечтатели, создатели новых теорий переустройства мира.

Читая историю Эмиля Гольдфуса, поражаешься обилию деталей из жизни Вилли.

На свадьбу своему другу Сильверману он подарил бутылку немецкого вина „Либфрауенмильх". То же вино любили в доме Фишеров. Когда Вилли ездил в ГДР, где его с почетом принимали бывшие ученики – Миша Вольф и Мильке, – он всегда привозил домой несколько бутылок этого вина. Иногда ему его присылали.

На гитаре он играл давно. Еще во время войны иногда играл Де Фалья. Рассказы о том, что он научился играть, работая дровосеком, разумеется, ерунда. Его научила жена, Елена Степановна.

До отъезда в США он мало мастерил из дерева. По возвращении он устроил себе неплохую мастерскую и часто возился в ней, пока серьезно не повредил себе руку циркулярной электрической пилой.

Другая причина, побудившая Вилли выбрать именно эту среду: либерально-левые настроения! Именно в этой среде его искренние оценки людей, событий, а иногда и общественно-политических явлений не могли вызвать невзначай чувства неприязни, осуждение, подозрение.

Да и где лучше, спокойней действовать, вернее, не действовать, а отдыхать, жить, расслабляться советскому шпиону, если не среди людей, которые хотя бы твердо знают, что советские шпионы плод больного воображения поджигателей войны, выдумка ФБР, порождение реакционной пропаганды?! Среди людей, убежденных в том, что никаких шпионов нет, как не было лагерей до доклада Хрущева на XX съезде КПСС и „Архипелага ГУЛага", среди людей – не коммунистов, но знающих, что спасения вне социализма нет? Людей, для которых полиция –

всегда враг? Людей, которые, в случае чего, полиции не скажут ни слова?

Его бруклинские друзья – не случайные соседи или сослуживцы, а друзья – приняли его в свою среду. Если что и смущало, то лишь мелочи. Покажется, например, странной его свирепая реакция на сказанные в шутку, без задней мысли слова: „Мы слушали Москву".

Но все это пустяки, легкая рябь на гладкой поверхности безмятежно ровных и спокойных отношений с милым пожилым фотографом Эмилем Гольдфусом, который так правильно и тонко реагирует на главное в жизни: на людей, на мысли, на искусство. Он свой, он один из них.

Они только не знали, что он – полковник государственной безопасности.

„Когда его разоблачили как шпиона, – пишет в предисловии к книге Луизы Берниковой Берт Сильверман, – безмятежная ясность наших отношений исчезла, и возникла масса вопросов, на которые нет ответа".

И бруклинские друзья Вилли недоумевали: кем же он был – холодным, расчетливым шпионом или душевным и чутким другом?

Это смотря с кем. В описаниях тех, кто знал его в США, я узнаю Вилли таким, каким всегда его знал. Узнаю его мысли, суждения, реакции на людей, события, искусство. В Бруклине он был самим собой. Да Эмиля Гольдфуса и не сыграешь несколько лет подряд. Именно для этой жизни – не для роли, а для жизни – он был рожден.

„Я поначалу думал, – пишет Берт Сильверман, – что Эмиль, став шпионом, предал самого себя, погубил свои самые ценные человеческие качества".

Это, возможно, и сделал Вилли Фишер, когда в 1927 году пошел работать в ИНО ГПУ. А может быть, уже раньше, когда мальчиком помогал отцу в его конспиративных затеях.

Как терзался угрызениями совести Берт Сильверман, когда ответил отказом на просьбу о переписке арестованного и уже осужденного Абеля! Приехав позже в Москву, чтобы встретиться с Вилли, потерпев неудачу, он написал ему теплое письмо, в котором просил прощения за свое малодушие, говорил о надежде на дружескую встречу с „Эмилем", то есть Вилли.

„Я надеюсь, что книга о Вас будет правдивой. Я попытаюсь объяснить, почему большинство людей, которых Вы встречали, так хорошо Вас помнят. Все мои друзья тепло Вас вспоминают...

Я надеялся поговорить с Вами об этом. Мечтал, что мы вместе будем бродить по Эрмитажу, говоря об искусстве и живописи. Я также надеялся поговорить о Ваших чувствах к Америке и к людям, которых Вы там встретили. Этому, очевидно, не бывать. Возможно, в другой раз — когда мы сможем встретиться, как старые друзья? Я говорю не „прощайте", а „до свидания". Ваш Берт Сильверман".

Эти слова были обращены к Эмилю Гольдфусу. Полковника Абеля они не могли тронуть. Но „полковника Абеля" бруклинские друзья Вилли обнаружили лишь в зале суда. А знали они пенсионера-фотографа Эмиля Гольдфуса, не подозревая, что на стоящем у него в комнате приемнике их друг принимает шифровки из Москвы.

Шифровки из Центра! Любивший похвастать своими литературными способностями, Вилли дал мне однажды почитать рассказик, сочиненный им

для какого-то закрытого издания, чего-то вроде стенгазеты, бюллетеня или учебника Главного Первого управления. Пояснил, что все у него описано точно.

В Нью-Йорке накануне 7 ноября он заехал в определенный гастрономический магазинчик и купил там жареную курицу. Не помню уже, кто ему ее продал: хозяин или продавец. Привезя курицу домой, он вынул из ножки кость, развинтил, достал оттуда микрофильм, расправил его, а изображение спроецировал на стену. Колонки цифр Вилли списал на бумажку и расшифровал. Это было поздравление от начальства по случаю годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. Какой именно, Вилли не указывал из соображений секретности.

Рассказик заканчивался тем, что прочитав шифровку и уничтожив бумажку и микрофильм, Вилли, согретый вниманием чуткого начальства, никогда не забывающего верных сынов Родины, умиленный и просветленный, садится за скромный праздничный стол. Он поднимает бокал за мировую революцию, чокается с бутылкой „Либфрауенмильх" и закусывает конспиративной курицей, в то время как стоящий на столе приемник доносит до него голос московского диктора и грохот танков на Красной площади. В далекой столице начинается праздничный парад. А в логове врага, где народ еще спит, бдит доблестный советский разведчик.

Я спросил Вилли, не кажется ли ему, что у молодых сотрудников, в назидание которым писался этот рассказ, может зародиться мысль, что служебные мозги и деньги тратятся на ерунду? Это во-первых. А во-вторых, не слишком ли подчеркнут контраст: в логове врага, который, как известно, без

устали грозит нам атомной войной и порабощением, народ мирно спит, а в Москве грохочут танки?

Вилли немного обиделся и принялся доказывать, что поздравление начальства очень важно в условиях нелегальной работы, греет душу. А о боевой готовности нашей страны молодежи надо напоминать постоянно.

Допускаю, что всех работающих за границей агентов Москва поздравляет так же хитроумно. Не Вилли выдумал такую систему связи. Но поездка через весь город в определенную лавочку, обработка курицы, микрофильм, расшифровка... Ради праздничного поздравления! Даже смахивает на „липу". Но Вилли говорил, что все было именно так... Тогда-то и возникла, и стала крепнуть у меня мысль: а что если в Соединенных Штатах мой друг либо занимался ерундой, либо вообще не делал ничего? Возможно, с самого начала, а возможно, лишь ко времени ареста.

15. ЖЕЛАННЫЙ АРЕСТ

За вычетом лет, когда, выгнанный из разведки, Вилли служил на заводе, он все остальное время работал либо в центральном аппарате на Лубянке, либо обучал агентов, либо нелегально жил за границей. В разведке он прослужил и всю войну.

Получается, что когда в 1957 году Вилли попался, он имел за плечами *тридцать лет* почти беспрерывной работы в разведке, из которых около *двадцати* (из них последние девять лет в Нью-Йорке) — работы за границей на положении нелегала.

И тут он попался, как новичок.

Все, кто писал о полковнике Абеле, подчеркивали, что он провалился из-за одной-единственной тактической ошибки. В студию на Фультон-стрит в Бруклине Вилли один-единственный раз привел своего помощника Рейно Хейханнена, человека, которому не доверял, который был ему глубоко антипатичен, с которым у него не было ничего общего.

Ради этого антипатичного ему человека грубо нарушил элементарные правила конспиратор с тридцатилетним стажем, Вильям Генрихович Фишер, сын другого великого конспиратора , старого большевика Генриха Матвеевича Фишера.

Около десяти часов вечера 20 июня 1957 года в окне студии номер 505 на верхнем этаже дома номер 252 по Фультон-стрит в Бруклине зажегся свет. Под свисающей с потолка единственной лампой стоял человек средних лет в очках с обрамленной седыми волосами большой лысиной.

Дежуривший на двенадцатом этаже дома напротив агент наружного наблюдения ФБР Нейль Хейнер, не отрывая глаз от окуляров бинокля, следил за каждым движением незнакомца.

А когда незнакомец надел шляпу, темную соломенную шляпу с белой лентой, и погасил свет, агент Хейнер сообщил по радио своим коллегам на улице, что „объект" сейчас выйдет из подъезда. И указал примету: черная соломенная шляпа с белой лентой.

За вышедшим на улицу пенсионером, фотографом Эмилем Гольдфусом, пошли двое. Шляпа, темная соломенная шляпа с белой лентой, служила отличным ориентиром, не давала Эмилю Гольдфусу затеряться в толпе.

Было жарко. Гольдфус скинул пиджак и нес его

в руке. Но шляпу он не снял. За ней и топали агенты „наружки".

*

– Скажите, Вилли, американцы сильно работают?

Вилли задумался.

– Как вам сказать? Пока их не ткнут носом, не покажут, где надо искать... Но уж если они сели вам на хвост... Очень хорошо подготовленные агенты, отличная аппаратура. И неограниченные технические средства. Я, например, выскочил из вагона метро – хвост уехал. Думал все, ушел. Ан, нет. Они по радио уже передали идущей поверх машине, и за мной, когда я вышел на улицу, увязалась другая команда. За мной временами топало сразу человек 50-60.

– Откуда вы это знаете? Вы их сосчитали?

– Наши товарищи под крышей прослушивали все их переговоры по радио.

*

В подъезд гостиницы Лэтэм на 28-й улице вошел Эмиль Гольдфус – и перестал существовать. На старом астматическом лифте на восьмой этаж поднялся постоянный жилец отеля Мартин Коллинз. Он прошел в комнату 839.

По имевшимся у него документам, Мартин Коллинз был старше Эмиля Гольдфуса. Он родился 15 июля 1897 года. Хотя и не имея определенных занятий, Мартин Коллинз аккуратно платил за комнату и был идеальным, незаметным жильцом.

Кроме возраста, Мартин Коллинз отличался от Эмиля Гольдфуса еще и тем, что если свидетельство

о рождении пенсионера-фотографа принадлежало появившемуся когда-то на свет, но умершему во младенчестве сыну немецких эмигрантов, то Мартина Коллинза вообще никогда не существовало. Свидетельство о его рождении было фальшивым.

Эмиль Гольдфус – Мартин Коллинз!

Было жарко. В те годы кондиционеры были редкостью. Мартин Коллинз спал голый, не прикрывшись даже простыней, когда в семь утра в дверь комнаты 839 постучали.

„К этому моменту разведчик готовится всю свою жизнь!"

Возможно, в эту ночь Вилли Фишер вспомнил, как в Москве, выгнанный из разведки, он каждую ночь ждал ареста.

Шел 1938-й год. Ночью, когда в глухой, закрытый с четырех сторон двор ведомственного дома во 2-м Лаврском переулке въезжали машины, во всех квартирах просыпались, замирали, слушали. И Вилли вздрагивал, вскакивал, ждал. И Елена Степановна, поздно вернувшаяся из цирка, – тут же, рядом, на Цветном бульваре, – тоже просыпалась, замирала. Только маленькая Эвелина спала. В насторожившемся доме по звуку хлопнувшей двери определяли, в какой подъезд. Кого-то увозили...

... В комнату Мартина Коллинза вошли дежурившие в соседней комнате агенты ФБР. Он встретил их, завернувшись в простыню.

„Они меня застали без порток!" – скажет он потом своему адвокату Доновану.

– Полковник, – сказал сотрудник ФБР Гам-

бер, – нам известно о вашей шпионской деятельности.

„Раз назвали полковником, – говорил мне потом Вилли, – значит сведения у них были от Хейханнена".

*

Отправляясь на выполнение задания, майор государственной безопасности Рейно Хейханнен оставил в Советском Союзе жену и сына. В Финляндии, где он жил некоторое время, выправляя себе американский паспорт на имя Юджина Маки, он незадолго до своего отъезда в США женился на местной девушке по имени Ханна. Вилли утверждал, что он это сделал вопреки категорическому запрету начальства.

Майора Хейханнена вызвали в Москву. Не для того, однако, чтобы отчитать, а лишь для последней проверки его познаний в радиоделе, тайнописи и прочей шпионской премудрости. После чего дали ему кличку „Вик", и корреспондент ТАСС в Хельсинки перевез его в багажнике своей машины через границу обратно в Финляндию.

Вместе со своей новой женой Юджин Маки отплыл в Америку, куда и прибыл 20 октября 1952 года.

Началась шпионская карьера Юджина Маки, по кличке – „Вик". В ней мы обнаруживаем много удивительного.

Первые одиннадцать месяцев по приезде в США он ничего не делает. Осматривается. Наконец, наклеив белую бумажку на дорожный знак в городском парке, дает знать, что прибыл, слежки за собой не заметил и готов встретиться с начальством. При

первом же свидании с Марком (Вилли), Вик (Хейханнен) просит у него денег сверх положенного (нашел у кого просить!) и получает, естественно, отказ. Первый легкий конфликт.

Затем в течение двух с половиной лет Марк и Вик периодически встречаются. Начальник передает своему заместителю то деньги, то фото- и радиоаппаратуру, то фальшивые документы. Дважды посылает его в командировки, один раз предпринимает с ним совместную поездку. Немного. Все попытки Марка заставить Вика приступить к работе, ни к чему не приводят. Так наступает 1955 год.

Марк требует, чтобы Вик серьезно занялся изучением английского языка. Напрасные усилия! Вик учится языку кое-как, с американцами почти не общается, живет замкнуто, пьет. Марк велит ему открыть магазин фотопринадлежностей. Вик снимает помещение, замазывает витрину белой краской, сваливает в углу кое-какую аппаратуру, и на этом дело кончается. В своем будущем магазине Вик беспробудно пьет. Напившись, он скандалит, публично бьет жену. Дома происходят побоища. Окровавленного, с ножевой раной в бедре (он сам себя ранил), Вика однажды увозит вызванная соседями „Скорая помощь". В другой раз на шум скандала в дом является полиция.

Вик покупает автомобиль, садится пьяный за руль, вызывает аварию, попадает в больницу. У него отбирают права.

Вилли просит Москву избавить его от такого помощника.

Уже после своего обмена на Пауэрса, вскоре по приезде в Москву, Вилли сказал мне, что не обнаружил в своем деле собственной депеши, в которой он

указывал начальству на непригодность Хейханнена. Впоследствии он к этой теме не возвращался.

Но Вилли не только слал в Москву тревожные депеши. Весной 1955 года он туда приезжал в отпуск. К тому времени он хорошо узнал своего подчиненного и ему было что о нем рассказать начальству.

В Советском Союзе он тогда пробыл месяца три. Отдыхал, ездил по стране, но также подолгу совещался со своим руководством.

Он говорил позже своему защитнику Донована, что ему вообще было непонятно, зачем прислали Хейханнена. И высказывал догадку, что тот с самого начала стремился привлечь к себе внимание неосторожным поведением, установить контакт с американской контрразведкой, стать двойником. Но разве для того, чтобы стать двойником,обязательно устраивать пьяные скандалы? Достаточно было позвонить по телефону в ФБР, сохраняя при этом видимость доброго сотрудничества с начальством, имея что предложить американцам.

Если же предположить, что именно вызывающе неосторожное поведение Хейханнена должно было привести к провалу и установлению контакта с американцами, то почему не допустить, что контакт не должен был привести к передаче им серьезной информации, что за этим был замысел Центра, который так упорно не хотел реагировать на тревожные сигналы Вилли?

Вика не отозвали, а разрешили выехать в отпуск, одновременно поздравив с присвоением очередного звания – подполковника!

Принято считать, что испугавшись наказания по возвращении в Москву, Хейханнен сбежал со страху. В поздравлении с присвоением звания он, мол,

усмотрел попытку усыпить его бдительность, заманить.

Каковы бы ни были намерения Москвы в отношении Вика, в продолжении истории много непонятного.

24 апреля 1957 года новоиспеченный подполковник Рейно Хейханнен отплывает из Нью-Йорка в Европу на французском трансатлантическом лайнере „Либерте".

После всех усилий, которые он приложил, чтобы спровадить в Россию своего нерадивого заместителя, пунктуальный и педантичный Вилли наверняка доложил о радостном событии либо прямо в Москву, либо местной резидентуре.

Вику он перед отъездом терпеливо втолковал инструкции. По приезде в Париж позвонить по телефону Клебер 33-41 и сказать сотруднику советского консульства, который возьмет трубку: „Могу ли я отправить через вас две посылки в СССР, не прибегая к услугам компании Мори?" Это — сигнал, просьба о встрече. 1 мая Хейханнен в Париже, звонит. На следующий день происходит встреча.

Допустим, что Вилли не сразу сообщил в Москву об отъезде Вика. Допустим, что он уведомил об этом лишь кого-то из местных „товарищей под крышей", то есть работающих под прикрытием дипломатической неприкосновенности, а дальше сообщение, как не срочное, пошло диппочтой. Допустим, что для местного начальства отъезд заместителя негласного нью-йоркского резидента — событие незначительное. Но если того отзывают по требованию непосредственного начальника, то это все же событие!

Трудно допустить, что для парижской резиденту-

ры приезд, пребывание и отъезд Вика — эпизод совсем уж ничтожный и не оставил никаких следов. Кто-то из сотрудников ответил на звонок, доложил начальству, пошел на встречу, дал Вику деньги и, разумеется, взял расписку.

Эта незначительная сумма, обманом полученная в Париже, сыграет позже свою роль на суде — как дополнительная отрицательная характеристика Хейханнена.

Вернемся к Парижу. На следующий день после личной встречи и получения денег у Вика происходит „визуальная встреча" с сотрудником консульства. Своим появлением в условленном месте Вик сообщает, что он завтра отправляется в Западную Германию, оттуда в Западный Берлин, Восточный Берлин и Москву.

Допустим, что из Парижа не предупредили советскую резидентуру в ФРГ и что до Западного Берлина Вик был бы предоставлен самому себе. Но допустить, что в Восточном Берлине его никто не ждал и не хватились, когда он так и не появился, — уже трудно.

А Вик на следующий день после „визуальной встречи" является в американское посольство в Париже, просит политического убежища, говорит о своей шпионской работе, показывает в доказательство полую монетку — контейнер для микрофильмов.

Появление Вика в посольстве США вполне мотивированно. Даже чуть-чуть чрезмерно, пожалуй. Вспоминаю рассуждения моего бывшего доброго приятеля и шефа в Четвертом управлении, Михаила Маклярского, много занимавшегося в начале войны засылкой агентуры в тыл к немцам. Их осо-

бенно много якобы добровольно оставалось при отступлении Красной армии. Вспоминаются отдельные его рекомендации: „Будут допрашивать – не старайтесь казаться умнее собеседника. Умников никто не любит, никто им не верит! Говорить надо то, что от вас хотят слышать. И поменьше идеологии!" А начальник Четвертого управления, Павел Анатольевич Судоплатов, напутствуя сотрудников, поучал их, кого им следует вербовать: „Ищите людей ущербных, неудачников, озлобленных, совершивших какие-нибудь преступления".

Отлично! Но ведь такой подход универсален. Естественно предположить, что, давая агенту задание завербоваться к противнику, ему тоже рекомендуют быть ущербным, недовольным, неудачником, человеком порочным. К тому же обойденным по службе, которого третирует начальство. О том, что „Марк" его третировал, „Вик" будет говорить на следствии и суде.

„Говорите, что ваша мечта – купить автомобиль и стиральную машину. Намекните, что вам грозила тюрьма..."

Кроме того: напомню – все это происходило в пятидесятые годы, когда даже для внушения доверия противнику не следовало, по идеологическим соображениям, ронять высокое звание советского человека. Вербоваться к противнику должен был обязательно подонок.

Впрочем, тут два соображения: идеологическое и утилитарное. Идеологическое: в те годы (а ведь переход Хейханнена планировался еще, вероятно, при жизни Сталина или сразу после его смерти) ни один офицер разведки не осмелился бы предложить и скрепить своей подписью план, в котором излага-

лись бы идейные мотивы перехода на сторону врага. В данном случае – перехода офицера разведки, подполковника! Предложив такой план, сформулировав мотивировку, можно было легко сломать себе шею.

(Когда советский агент Рамон Меркадер шел убивать Троцкого, он имел при себе длинное письмо с объяснением мотивов убийства. В этом письме якобы написанном троцкистом, пусть разочарованным, нет ни одного, хотя бы косвенного, критического замечания в адрес Сталина и существующих в СССР порядков. Готовивший операцию Эйтингон знал, что делал. Узнай „хозяин", что он для правдоподобия написал не то, и ему бы не сдобровать.

Впрочем, лишь много лет спустя на эту несообразность обратил внимание Исаак Дон Левин.)

Это – с одной стороны. А с другой, могло быть и соображение утилитарное. Хорошо известно, что переходившие на Запад по идейным соображениям хлебали горя. Вспомним хотя бы историю Игоря Гузенко, шифровальщика военного атташе посольства СССР в Канаде в 1943 году. Искренне возмущенный тем, что в разгар войны Советский Союз шпионит за своими союзниками – Канадой и США, Гузенко решил не возвращаться в СССР и, собрав множество ценных компрометирующих документов, бросился за помощью к канадцам. Его спасло чудо и неосторожность резидента КГБ Павлова. Канадцы на первых порах хотели заставить его вернуться в посольство, вернуть документы и попросить прощения.

А Хейханнен – случай простой и ясный: его побуждения низменны. Это облегчает контакт. Ведь идейные мотивы индивидуальны, расплывчаты и не всегда понятны, а с проворовавшимся пьяницей и

развратником психологических проблем не возникает.

Представьте себе: к сотруднику посольства США в Париже, человеку, прошедшему специальную подготовку, возможно, выпускнику Гарвардского университета, знающему, вероятно, кроме родного английского, два-три языка, тренированному, аккуратно стриженному под бобрик, сыгравшему утром в теннис, принявшему душ, чисто выбритому — приходит неопрятный, безвкусно одетый, потный, с грязными ногтями, плохо выбритый, с утра воняющий водкой субъект. Субъект показывает развинчивающуюся монету, утверждает, что он советский подполковник, служит в „красной" разведке и, явно умирая от страха, несет какую-то ахинею.

Вся нехитрая психология этого неандертальца — как на ладони перед внимательно слушающими его (их, вероятно, двое) американцами. В примитивном мозгу о двух извилинах этого пьяницы и патологического бабника (о нем скажет позже адвокат Донован: „В армии США такой человек не стал бы даже капралом") все понятно с первого взгляда. Один из решающих аргументов: „Неужели они там, в Кремле, считают нас такими идиотами, чтобы подослать такого недоумка?"

Ну что вы, что вы! Разумеется, не считают!

Правда, кроме полой монетки и рассказов о тайниках: дупло старого дерева в парке, трещина в бетонной лестнице, — этот алкоголик ничего толком сообщить не может. Но чего же от него ждать? Если разговор затягивается, то память изменяет предателю, он впадает в пьяное оцепенение. Ну что же поделаешь, это естественно! Зато в нем нет притворства — разве что элементарная хитрость скотины...

Можно ли это использовать для серьезной разработки? Увы, нельзя! Ведь Марк считает, что Вик уехал в Москву и в Нью-Йорке он уже полезным быть не может. Что же, проверим хотя бы, существует ли на самом деле этот Марк?

После своего появления в посольстве США Вик находится в Париже еще *три недели*. Затем его отправляют самолетом в Америку — ловить Марка, о котором теперь известно, что он самый главный советский шпион.

Сделаем скидку на врожденные безалаберность, лень и бездарность русских, на всем известный дилетантизм советской разведки. Сделаем все эти скидки и допущения, но даже с учетом выходных дней, когда разведка, естественно, не работает, недели через две после бегства Хейханнена, иными словами, еще *до* того как он вернулся в США, могла или не могла Москва — вернее, должна или не должна она была — сообщить вашингтонской и нью-йоркской резидентурам хотя бы о его исчезновении?

Между тем, через четыре дня после отъезда Вика в Европу Марк уезжает из Нью-Йорка во Флориду. Остановившись там в гостинице Плаза в Дейтон-Бич под именем Мартина Коллинза, он пишет большой морской пейзаж и 17 мая возвращается в Нью-Йорк.

К этому времени прошло уже двадцать дней с момента исчезновения Вика! Почему не предупрежден об этом Марк? Или местное начальство Абеля об этом ничего не знает, или оно не имеет с ним связи, или оно не считает нужным его предупредить.

Или все происходящее давно предусмотрено? И все играют назначенные им роли?

Я уже не говорю о том, что для Марка было бы нормальным на время отсутствия своего заместителя Вика оставаться самому в Нью-Йорке. А он уезжает. Это может, конечно, означать, что Вилли вообще делать больше нечего.

Допустим, что во Флориде Вилли не могли найти (маловероятно!) и предупредить об исчезновении Хейханнена. Но в Нью-Йорке! Вспомним, с какой изобретательностью, через куриную ножку, с ним связывались, когда надо было поздравить с годовщиной октябрьской революции! А тут — ни одной курицы! Ни местное начальство, с которым он в контакте, ни Москва, с которой он обменивается шифровками, не могут его предупредить об опасности. Не хотят? Или он все уже знает? Но если знает, почему он так себя ведет?

Марк в Нью-Йорке. Он вернулся в гостиницу Лэтэм, в которой жил и раньше под именем Мартина Коллинза. Пожилой, спокойный, незаметный жилец, аккуратно платящий за комнату. Примелькавшаяся фигура. Здесь он может жить годами. Предатель Хейханнен никогда в этой гостинице не был и не знает имени, под которым Вилли в ней живет. Хейханнен знает только Марка и (случайно?) студию в Бруклине. Оставаясь Мартином Коллинзом и на худой конец сменив гостиницу, Вилли может раствориться в гигантском Нью-Йорке. Нельзя только появляться в студии на Фультон-стрит.

Через несколько дней после возвращения из Флориды Вилли, с наступлением темноты, отправляется в Бруклин в свою студию на Фультон-стрит.

Допустим, он не предупрежден. Тогда почему он

не пришел открыто? Или он предупрежден. Тогда зачем он вообще пришел?

Но если абсолютно надо — пошли кого-нибудь (ему было кого послать) или приди днем, в сутолоке. Лето, соседи разъехались, он никого не встретит. Но он приходит вечером, зажигает в комнате свет, и агент наружного наблюдения, который через улицу следит за окном в бинокль, сразу видит его. Тогда Вилли надевает черную соломенную шляпу с белой лентой...

— Если вы заметили, что за вами следят, — поучал меня Вилли в 1942 году, — наденьте что-нибудь броское. Или возьмите в руки что-нибудь приметное. Наденьте клетчатую кепку, например, или шляпу, возьмите сверток. Затем — выбросив или спрятав шляпу, кепку, предмет — вы сбиваете хвост...

Элементарный прием! Но Вилли не снял приметную шляпу. А ведь он всегда одевался как можно незаметнее.

Однако в первый раз Марк уходит от наблюдения. Поскольку Вилли рассказывал мне, как он это сделал, то нельзя полагать, что он хвоста не заметил и оторвался от него случайно. Не мог он считать случайным и наблюдение. В Соединенных Штатах „просто так" не установят слежку за ничем не примечательным пенсионером-фотографом.

Так что, даже если допустить, что Москва не сообщила об исчезновении Вика в пути, если местная резидентура не успела или не сумела предупредить Марка об опасности, то он, заметив слежку и уйдя от нее (ведь в первый раз, по показаниям агента Хейнера, он от слежки ушел), мог и должен был ли-

бо бежать, либо затаиться. Только не возвращаться на Фультон-стрит.

Он туда возвращается. Допустим, что ему надо было уничтожить компрометирующие материалы. Почему он этого не сделал в первый приход? Он этого не делает и сейчас. Агенты ФБР найдут в студии аппаратуру, пленки, шифры, полые карандаши и запонки. А он возвращается снова и снова, пока не приведет хвост на 28-ю улицу в гостиницу Лэтэм.

— Когда я шел к себе, заметил, что дверь соседней комнаты чуть приоткрыта. Почувствовал, что оттуда за мной наблюдают.

Так он мне говорил после возвращения. Он видел, что комната оцеплена. Он заперся у себя в номере. У него было время, чтобы уничтожить весь компрометирующий материал.

И тогда старый шпион Вилли Фишер, работающий в разведке с 1927 года, раздевается и ложится спать среди разбросанных по комнате записей, копий депеш, тайничков с шифрами, микрофильмов с письмами из дому...

Жарко, и он спит голый поверх одеяла, не закрывшись даже простыней.

Утром в дверь стучат.

„Полковник, нам известно о вашей шпионской деятельности!"

Вилли со все большим смаком и умножающимися подробностями рассказывал потом, как, попросив разрешения самому уложить чемодан, он под носом у сотрудников ФБР уничтожил компрометирующие материалы. Но это потом, а пока — оказывается, что трясущийся от страха Вик сказал правду: Марк существует. Доказательства его шпионской деятельности разбросаны по комнате в гостинице

Лэтэм. Позже их обнаружат и в его студии в Бруклине. Улик и следов сколько угодно. Правда, они никуда не ведут. Но это лишь потому, что Марк, умный и хитрый, сумел спрятать концы.

Есть лишь одна ниточка, которая, потяни за нее как следует, могла бы навести на интересный след. Среди захваченных в гостинице Лэтэм вещей – две фотографии каких-то людей. На обороте одной из них написано: „Ширли и Морис".

Неужели мог опытный шпион Вилли Фишер так легкомысленно держать у себя, особенно в ночь, когда он, по его же словам подозревал, что комната оцеплена и что его придут брать, фотографии этих людей? Ведь это его старые друзья „Питер и Лона", то есть Лона и Морис Коэн. Я однажды застал их у Вилли на даче, где они были частыми гостями, после того как их обменяли на Джеральда Брука и они вернулись из Англии, отбыв там несколько лет тюрьмы за шпионаж под именем супругов Крогер.

Такая находка должна бы начисто опровергнуть всякую мысль о том, что Вилли ждал ареста, не стремился его избежать и сознательно оставил у себя в комнате достаточно инкриминирующих, но никуда не ведущих доказательств своей шпионской деятельности.

На первый взгляд, такое возражение справедливо. Но к моменту ареста Вилли знал только, что Коэны, с которыми он встречался и, очевидно, работал сразу после приезда в Нью-Йорк, давно уехали в Советский Союз, потому что в США им грозило разоблачение и арест (так он мне говорил). Так что он мог вполне спокойно оставить фотографию своих друзей на поживу ФБР. Их розыск никуда не при-

вел бы, укрепив статус „полковника Абеля" как важного советского резидента.

И это было бы справедливо, находись Лона и Морис Коэн на покое в Москве. Но они уже выполняли новое задание в Англии, куда их отправили вскоре после их бегства из США. Вилли утверждал, что ему и в голову не приходило, что после провала в Америке его друзей снова послали куда-нибудь за границу.

Успокоимся, однако, – хотя Центр и совершил грубую, с точки зрения Вилли, ошибку, послав Коэнов на нелегальную работу в Англии, хотя сам Вилли и допустил просчет, держа у себя фотографии людей, как-никак державших в свое время связь с супругами Розенберг, – его друзьям это не повредило. Найденная в гостинице Лэтэм фотография никуда никого не привела, а „супругов Крогер", приехавших в Англию в 1954 году, английская контрразведка арестовала лишь потому (в 1961 году), что один из агентов их „патрона" Гордона Лонсдейля (Конона Молодого), некий Харри Хаутон, пропивал в кабаках больше, чем зарабатывал, и тем привлек к себе внимание.

Арестованного Вилли увезли в Техас. А когда через несколько дней его спросили, кто же он и откуда, он ответил, что он – гражданин СССР, полковник, и зовут его Рудольф Иванович Абель. И потребовал, чтобы его выслали в Советский Союз.

Так, пройдя через переходный шлюз Мартина Коллинза, Эмиль Гольдфус стал Рудольфом Абелем. Исторической фигурой. Человеком, которого будут судить на глазах всего мира, приговорят к 30-ти годам заключения и обменяют на Гарри Пауэрса.

Некоторые американские газеты писали, что, признавшись в том, что он разведчик, назвавшись полковником Абелем, человек, известный многим как Эмиль Гольдфус, пенсионер-фотограф, „сбросил маску".

По-моему, он именно тогда ее надел!

16. „США ПРОТИВ АБЕЛЯ"

Как в любой легенде, и тут немало осталось от реальной жизни, от судьбы и прошлого самого Вилли. Осталось имя матери — Любовь. Примерно тот же возраст. Но в характере Абеля сдвинуты акценты, персонажу придан иной, несколько более жесткий, показной характер.

Защитник Вилли Донован пишет*: „Он сказал мне, что происходит из достойной семьи, игравшей заметную роль в России до революции. Он постоянно говорил о своих патриотических чувствах и преданности тому, что называл матушкой-Россией".

Слова о семье совпадают с обликом Вилли Фишера, но „матушка-Россия" звучит в его устах абсолютно искусственно. Не говоря уже о том, что в его жилах было мало русской крови, а умер он, шепча на ухо дочери: „не забывай, что мы — немцы", само выражение не в его стиле. Будь оно и вправду произнесено, это скорее всего либо код, либо неумная выдумка начальства.

Так, отправляя людей в тыл к немцам во время войны, инструктировали: „Если попадетесь и будут

---

* James Britt D o n o v a n . Strangers on a bridge. — London: Secker & Warburg 1964.

казнить, кричите: „Да здравствует товарищ Сталин!"

И еще впечатление, которое осталось у Донована (следовательно то, которое хотел на него произвести Вилли), – адвокат все время видит в нем военного, офицера. Он пишет, что не завидовал бы молодому лейтенанту, над которым Вилли был бы начальником. Он видел в Вилли служаку.

А между тем, Вилли не мог бы командовать даже взводом. Его военные знания ограничивались воспоминаниями о службе в 1924 году в радио-телеграфном полку. Даже полагавшийся ему как офицеру КГБ пистолет он во время войны никогда домой не приносил. Держал в сейфе на работе.

Все разнообразные и подчас поверхностные интересы Вилли приводятся в порядок и настраиваются на определенный лад.

Спору нет, Вилли Фишер и его двойник Эмиль Гольдфус любили почитывать книжки по математике. Но ведь в потоке детективных романов! Вилли сам их мечтал писать и все подбивал меня с ним сотрудничать.

А полковник Абель детективных романов что-то не читает. У него вроде и нет других забот, как заниматься теорией чисел, чертить план перестройки тюрьмы, обучать бандита-сокамерника французскому языку.

Это не чистый наигрыш. Вилли кичился всяким знанием. Слова, кажется, Эдуарда Эррио – „культура – это то, что остается, когда все забыто", – не для него. Для Вилли культура не общий стиль, не тонкость восприятия жизни и идей, а сумма конкретных знаний. В идеале – энциклопедический словарь. Человек, умеющий пользоваться логарифми-

ческой линейкой, выше человека, не обладающего таким умением.

Для роли полковника Абеля мобилизован весь обширный запас способностей и знаний дилетанта Фишера.

А среди свойств его характера бросается в глаза особо жесткая партийная позиция, способность обо всем судить, пусть даже прямо этого не говоря, с позиций „единственно научного учения". Эмилю Гольдфусу это вовсе было не нужно, у полковника Абеля — проявляется постоянно. Настолько даже, что один из помощников Донована, Фрэйман, выскажет мысль, что полковник не умен. Он слишком, мол, принимает себя всерьез, лишен чувства юмора. И он прав. Только не в отношении Фишера, а в отношении Абеля.

Для задуманного персонажа юмор предусмотрен не был.

„Тон процесса должен быть достойным. Судят человека, с честью служившего великой стране".

Так говорит полковник Абель, главное действующее лицо и режиссер начинающегося спектакля.

Абель! Суровый, дисциплинированный офицер, четкий в своих решениях и суждениях, „военная косточка".

Накануне начала процесса Донован запишет в дневнике: „Этот процесс не должен превратиться в суд над Советской Россией".

Боже упаси! Это будет плохо не только для подзащитного, но и для репутации американского правосудия. Советские люди должны знать, что их шпиона судили, свято соблюдая конституцию США!

Советские люди этого, разумеется, не узнают. В Советском Союзе книга Донована о процессе послу-

жила материалом для написания множества статей и повестей. Об одной из них пишет журнал „Дон" за февраль 1978 года: „Повесть привлечет внимание читателей очень убедительными фактами, раскрывающими, как в США, руководители которых так много кричат сейчас о якобы попранных в социалистических странах правах человека, грубо нарушается конституция". И дальше: „Одну из глав своей повести автор посвятил незадачливому капитану Гарри Пауэрсу, совершившему беспримерный по наглости шпионский полет над территорией Советского Союза".

Зато суд над Пауэрсом в Москве „как нельзя лучше подчеркивает гуманизм советского строя".

Еще бы! В Колонном зале Дома Союзов откровенно судили не Пауэрса, а „американский империализм", поливая его помоями и обвиняя во всех смертных грехах, — с активной, кстати, помощью не только адвоката Гринева, но и самого Пауэрса.

Так что показ американского правосудия не произвел в Москве ожидаемого действия.

В Колонном зале Дома Союзов разыграли спектакль, задуманный в КГБ и Отделе пропаганды ЦК КПСС. А кто задумал спектакль в Федеральном окружном суде в Бруклине?

В центре всеобщего внимания, под прожекторами внезапной славы — главный герой, советский разведчик полковник Абель. Он на высоте!

Избрав систему защиты, при которой он передает адвокату право говорить от его имени, полковник Абель молчит, так что защитник может его хвалить, а полковник своим молчанием лишь подчеркивать достоверность сказанного, а заодно и свою скромность.

„Я хотел бы иметь в Москве нескольких таких, как он", – скажет о нем директор ЦРУ Аллен Даллес.

Гранитно-твердый, неподкупный, неприступный полковник, олицетворение всех добродетелей, чекист с горячим сердцем, холодной головой и чистыми руками, молчит. И о его молчание разбиваются суетливые наскоки свидетелей обвинения.

Я имею в виду не агентов ФБР и соседей. Эти только приводят факты. Нет! Я говорю о ключевых свидетелях: о подполковнике Хейханнене, заместителе Абеля, и о завербованном Москвой американском сержанте Рой Родсе. Когда эти двое выходят на сцену, то железный полковник начинает сиять как бриллиант!

В целях конспирации ФБР выкрасило блондина Хейханнена в густой черный цвет. В зале суда появляется некая карикатура на бывшего короля Египта Фарука. Внешность предателя – ничто, однако, рядом с чернотой его морального облика. Все, что может восстановить против него присяжных, – налицо!

Перед людьми, многие из которых еле-еле избавились от тевтонской тяжеловесности речи или милой идишской напевности, людьми, гордящимися своим недавно освоенным английским языком и презирающими тех, кто позже них приехал в страну, появляется человек, говорящий неправильно, с чудовищным финским акцентом.

Перед людьми, отлично усвоившими, что трезвенником быть – хорошо, а пьяницей – дурно, появляется субъект, признающий, что начинает свой день с водки!

Известно, что надо быть чисто бритым, смелым,

оптимистом, – а этот тип неопрятен и труслив. От страха и пьянства у него дрожат руки!

Наконец, перед людьми, для которых соблюдение супружеской верности является одной из основ общества, – двоеженец!

Оставив в Советском Союзе жену и сына, он, не разведясь, женился на финской девушке Ханне. Развратник! Когда адвокат Абеля Донован уличает Хейханнена в двоеженстве, ропот возмущения пробегает по залу суда. Тут уже не до разговоров о шпионаже. Потрясены основы!

(И никому, разумеется, не придет в голову заметить, что при обыске у „железного полковника" в номере отеля Лэтэм нашли очень почтенное для человека его возраста и скромного поведения количество презервативов. Даже зловредное ФБР не отнесло эту находку к разряду средств связи с Центром. Так что можно допустить, что и „железный полковник" не все свободные от передач шифровок вечера тосковал по Родине и семье, занимаясь теорией чисел.)

Этого мало. Хейханнен – вор!

И это разоблачение тщательно подготовлено. У Абеля при аресте нашли больше двадцати двух тысяч долларов. Еще до начала суда пресса сообщила, что полковник наотрез отказался тратить из этих денег на свои личные нужды больше причитающегося ему жалованья – шестисот долларов в месяц.

В зале суда денежная щепетильность Абеля оттеняется Хейханненом. Речь идет о том, как он получил от Марка пять тысяч долларов для передачи Эллен Собелл, жене Мортона Собелла, осужденного по делу Розенбергов.

Вопрос: Выполнили ли вы поручение Марка? Передали ли вы деньги Эллен Собелл?

Ответ: Нет, не выполнил.

Вопрос: А вы отчитались перед Марком?

Ответ: Разумеется.

Вопрос: И что вы ему сказали?

Ответ: Что передал деньги Эллен Собелл и велел тратить их осмотрительно.

Скажи Хейханнен, что он деньги передал, вызовут Эллен Собелл. Она будет отрицать, как все отрицала на следствии, будет говорить, что никого не видела, ничего не получала. Но доказать ничего не сможет. Скажи он, что деньги вернул Абелю, – воспоследует недостойный спор, в котором Абель потеряет, возможно, лицо. Могут, чего доброго, подумать, что он из мести обвиняет Вика в краже!

И никто не спросил: почему Марк не потребовал у Вика расписки Эллен Собелл. Но раз уж Хейханнен сам говорит, что он украл деньги!..

Неизвестно зачем говорит он и то, что получив у Марка деньги на поездку в Москву, вторично получил их в Париже.

И как только присяжным и всем честным людям Америки станет ясно, что предатель Юджин Маки, он же Вик, он же Хейханнен, не расторгнув первого законного брака, вступил во второй, в зале суда возникнет переписка полковника Абеля с семьей.

Чтобы доказать пребывание Абеля в 1955 году в Советском Союзе, представитель *обвинения* зачитывает одно из шести писем из дому, найденных у него при аресте. Тогда защита читает все остальные письма. Цитирую Донована:

„Некоторые журналисты утверждали, что во время чтения этих писем, которые были ему настолько

дороги, что он не решился их уничтожить, Абель покраснел. Один из присутствующих в зале суда журналистов писал: „Когда адвокат читал письмо, стальная клетка самодисциплины, в которую заперся Абель, почти треснула. Лицо его покраснело, глаза наполнились слезами".

Дибевойз (один из защитников) прочитал присяжным два письма от дочери Абеля. Он потом говорил, что ему показалось, будто у двух женщин-присяжных в глазах были слезы. „Как были слезы в моем голосе", – добавил он.

Заметьте, слезы в глазах железного Абеля появились не в беседе с адвокатом, не в тиши тюремной камеры. Нет, у всех на виду! Под прожекторами кинохроники.

Кое-кто, замечает Донован, отрицал, правда, подлинность этих писем, утверждая, что они написаны условным кодом.

А кое-кто на Западе высказывал догадку, что письма, найденные у Абеля, равно как и те, что были обнаружены при аресте другого советского шпиона, Конона Молодого (Лонсдейля) в Англии, специально предназначались для того, чтобы в случае провала попасть в руки полиции*. По этой теории такие письма должны показать арестованного с лучшей стороны, как примерного отца и мужа, верного друга, пламенного патриота, скромно и мужественно выполняющего свой нелегкий долг вдали от близких и любимой страны.

Сторонники концепции поддельных писем выдви-

---

* Письма опубликованы в книге защитника Абеля Донована „Незнакомцы на мосту" и в серии очерков Ребекки Уэст „Новое значение предательства".

гают еще такие аргументы: письма слишком стандартны, слезливо-сентиментальны и примитивно-патриотичны, чтобы быть подлинными.

Тут я скажу, что они не могли быть иными. Их тон определяло незримое и постоянное присутствие начальства. Учитывая это незримое присутствие, пишущий должен соблюдать следующие правила:

писать так, чтобы нельзя было угадать, в какой стране он находится; с кем встречается; какова его официальная профессия; какой климат в той стране, где он живет (поэтому он даже о погоде писать не может).

Это не все. Письма из-за границы не должны отражать бытовой комфорт и окружающую свободу. А письма из дома не должны говорить о бытовых трудностях. И в том, и в другом начальство может усмотреть идейное шатание.

Впрочем, есть одно правило, обязательное для любого советского человека, живущего за границей. Он обязан ныть! Потому что, если он не ноет вдали от Родины, то какой же он, к черту, советский человек?

Мой юный коллега, радио-журналист, впервые попав в заграничную командировку на международную выставку, непрестанно стонал: ему тяжко вдали от родной страны, ему чуждо все его окружение, он погибает! Дошло до того, что начальник группы предложил ему вернуться в Москву. Но не на того напал! Молодой тогда Юрий Харланов ответил: „Меня послала Родина. Я выполню долг до конца!"

С тех пор он, не переставая, ездил в заграничные

командировки. Был много лет корреспондентом в Париже.

Зато другой мой сослуживец по московскому радио, Хазанов, вернувшись из туристской поездки по Европе, рассказывал взахлеб, что Париж — единственный город на свете, где он хотел бы жить. Юрий Харланов стоял совсем рядом — и слушал. И незадачливый Хазанов не выезжал после этого никуда лет пятнадцать!

В коммунальной квартире на Арбате в Москве, где выросла моя жена, было, кроме общего — в коридоре, несколько комнатных телефонов. Когда Лидии Никитишне К. звонил из Вашингтона сын — дипломат, — она открывала дверь в общий коридор. Соседи шмыгали мимо, прислушиваясь, и на всю квартиру гремел ее трубный голос:

— Потерпи, Толюшка! Знаю, что тяжело... Потерпи! Вышлю, вышлю черного хлебушка и воблушки, бедненький ты мой!..

Потосковав несколько лет в Вашингтоне, Толюшка привез вагон вещей, купил в Москве кооперативную квартиру, оборудовал ее, обставил американской мебелью и получил новое назначение в Токио. Куда и отправился тосковать по Родине в должности, кажется, первого секретаря посольства.

Напиши он хоть раз, в каких условиях он жил в Вашингтоне! Напиши он хоть раз, как счастлив и доволен! Тогда — в управдомы, только в управдомы!

Возьмите лист бумаги и, учитывая все эти ограничения, все эти обязательные темы, весь этот обязательный тон, напишите на досуге хорошее, теплое, искреннее письмо. Попробуйте!

Причем, это ограничения, относящиеся к пись-

мам, пишущимся, так сказать, в нормальных условиях — то есть, когда читает только свое начальство. Так написаны были письма из дому, полученные Вилли до ареста. А после ареста письма читали еще и американцы! Тут не до стиля!

Означает ли это, что письма не содержали кодовых слов и выражений?

Защитник Абеля, Донован, пишет*, что много лет спустя ФБР заявило, что после тщательной проверки оно пришло к убеждению: письма не содержали никаких условных слов, никаких секретных инструкций. Конечно, ФБР виднее! Но письма, которые жена Елена Степановна и дочь Эвелина писали Вилли, содержали-таки кодовые выражения, слова и фразы. Эти слова и фразы им давал сотрудник Главного Первого управления, а они уже обвязывали их личным текстом. Я слышал об этом от них не раз. Однажды они это делали при мне. Но повторяю, если ФБР говорит, что было иначе — спорить не буду. Или ФБР темнит?

*

Но и в железном Абеле подчас просвечивает Вилли.

„Мы заговорили, — пишет Донован, — об одном доброжелательном надзирателе, о котором я узнал, что со времени моего предыдущего посещения он уволился. „Не выдержал", — сказал о нем старший надзиратель. Абель хорошо его запомнил, и сказал, что понимает его. „Я мог бы быть заключенным много лет, — сказал он, — но никогда не смог бы

---

* Strangers on a bridge, p. 214.

быть тюремщиком. Нужно обладать особым характером, чтобы гонять людей, как скотину, надо не иметь воображения!"

Я не представляю себе Вилли работником лагерной. администрации. Легко представляю его себе зэком.

Он, как всякий последовательный коммунист ставил, разумеется, личность ни во что. Но в отличие от многих, он начинал с себя. Он, мне кажется, не мог пожертвовать другими ради собственного спасения или даже ради дела. Собой он был готов пожертвовать всегда.

Если верить Далину, знаменитый Леопольд Треппер, „большой шеф" „Красной капеллы", попав в руки немцев, выдал поочередно и послал на смерть всех своих ближайших соратников. И, будучи человеком объективным, в первую очередь своих самых старых друзей.

Одни утверждают, что он это сделал ради спасения собственной жизни, другие, что ради раскрытия коварного замысла немцев. Факт, что пока он проникал в глубь страшной загадки, его товарищи были расстреляны, обезглавлены, повешены!

*

Еще о письмах. Вилли в тюрьме. Он требует, чтобы ему разрешили переписываться с семьей. Адвокат Донован обращается в консульство СССР. После долгого молчания оттуда отвечают, что хотя им, разумеется, никакой Абель не известен, они могут из гуманных соображений попытаться помочь несчастному заключенному разыскать его семью.

Подчиняясь тюремным правилам, Вилли пишет

это первое письмо, как и все последующие, по-английски. Что он тайно сообщал в этом письме, не знаю. Но вот деталь:

„Дорогая Эллен, — пишет заключенный 80016-А, — это первая за долгое время возможность написать тебе и нашей дочери Лидии..."

Это также первая возможность для Вилли Фишера назвать свою дочь Лидией. Дочь звали Эвелиной — так он ее и называл во всех предыдущих письмах, найденных при аресте.

И дальше в том же письме: „Очень важно беречь здоровье. Пожалуйста, напиши мне, как ты и Лидия в этом отношении".

Такие корявые фразы, да еще с употреблением неправильного имени собственной дочери, должны иметь какой-то смысл.

Дальше! Некоторое время спустя супруга Рудольфа Абеля, якобы проживающая в ГДР, пишет слезное письмо президенту США Кеннеди. А копию этого письма покажут Вилли.

„Я жена Рудольфа Ивановича Абеля, — пишет Эллен Абель, — человека, который был в 1957 году приговорен к тридцати годам тюремного заключения. Меня зовут Эллен Абель. Я родилась в России в 1906 году. Я учительница музыки и живу в Германии вместе с дочерью Лидией Абель".

Сигнал подан! Сигнал принят! Откуда взялась Лидия?

Лидия, между прочим, существует! Она что-то вроде приемной дочери Фишеров. Воспитывалась в их доме, работает в КГБ стенографисткой-машинисткой, замужем за офицером Девятого управления (охрана членов правительства) Николаем Бояр-

ским. Летом она всегда живет на даче у Фишеров с мужем и сыном Андреем.

Уверен, что об ее существовании не знал в Америке никто! Даже Орлов-Швед! Да и в Москве знали только высокое начальство и близкие друзья. Назвав дочь Лидией, Вилли, очевидно, давал знать начальству, что письмо его подлинное, не подделка, сфабрикованная разгадавшей его код американской контрразведкой, и адресовано Центру.

*

Когда Конона Молодого арестовали в 1961 году в Англии под именем канадца Гордона Лонсдейля, он сказал на первом же допросе: „На все ваши вопросы мой ответ будет один: Нет". После этого он умолк и не сказал больше ни слова. И с ним никаких разговоров о том, кто он на самом деле, какое имеет звание, не было ни на следствии, ни на суде!

А Вилли, в нарушение всех традиций, признал, что он офицер советской разведки и назвал свое звание и имя, выдав его за настоящее. Дальше – больше, полковник Абель постоянно напоминает о своем происхождении и о своем звании, о своей профессии, указывает какой у него оклад – шестьсот долларов в месяц.

Донован говорит ему: „Россия вас списала, Рудольф". Абель парирует: „Ничего подобного, меня не списали, как вы говорите. Конечно, они не могут открыто меня признать. Такова традиция *моей профессии,* и я это понимаю. Но меня не списали и мне не нравятся ваши намеки".

Поскольку Фишеру и Молодому одновременно

вручали в клубе КГБ позолоченные часы „Полет" за долголетнюю и беспорочную службу (Молодый даже шепнул тогда Вилли: „Видно, затоварились часами"), а Фишеру кроме того дали орден специально за поведение на суде, то можно считать, что откровенность „Абеля" котировалась так же высоко, как каменное молчание „Лонсдейля".

Итак, мы можем предположить, что признание связи с советской разведкой входило в планы Виллиного начальства, было им одобрено. Это было частью того образа советского разведчика, который надо было создать в глазах американской общественности, персонажа, о котором директор ЦРУ Аллен Даллес скажет: „Хотел бы я иметь четверых таких в Москве".

Мне кажется, что в исполнении Вилли роли Абеля пропагандный момент — один из основных. Но кроме того: „Я давал сигнал Центру!"

Какой сигнал — неизвестно. Известно только, что первый и основной. А после ареста Вилли установил, по его словам, постоянную связь с Центром.

„Я проверял Шведа!"

Тут самое элементарное объяснение такое: Швед знал настоящее имя Вилли и мог его разоблачить. Но он этого не сделал.

А что бы произошло, скажи Орлов, что перед районным судом в Бруклине предстал Вилли Фишер?

17. ПРОВЕРКА „ШВЕДА"

17 сентября 1945 года в поврежденном бомбами здании Главного уголовного суда в Лондоне, так на-

зываемом Олд Бейли, началось слушание дела Уильяма Джойса.

Подсудимый был известен в Англии под кличкой „Лорд Хо-Хо". Так прозвали его за почти карикатурно-аристократическую речь, за надменный тон, которым он из Берлина говорил со своими соотечественниками. Его голос знала вся Англия.

Джойс когда-то примыкал к фашистской партии Освальда Мосли, затем создал свою собственную — национал-социалистическую партию Англии. Перед отъездом в Германию он эту партию распустил.

Оставшихся в Англии единомышленников Джойса к суду не привлекали. Самых активных изолировали на время войны, остальных вообще не трогали. А Уильяма Джойса, когда в конце войны он попал в руки британских властей, арестовали и отдали под суд. Почему?

Не за политические его убеждения. Не за пропагандные выступления по радио, как таковые. А за измену. За нарушение верности королю. А верность — долг всякого подданного Короны.

И тут возник юридический казус. Был ли Уильям Джойс, английский фашист, считавший себя архипатриотом, желавший с помощью гитлеровской Германии очистить родную Англию от тлетворного влияния гнилого демократизма и жидовского засилья, англичанином?

Его отец, Майкл Джойс, уехал в конце прошлого века в Америку, принял американское подданство, вернулся в Англию, привезя с собой трехлетнего Уильяма, рожденного в Бруклине.

Значит — Уильям Джойс был, по всем существующим законам, гражданином Соединенных Штатов!

Американского гражданина Уильяма Джойса нельзя было привлекать к суду за измену Короне!

Да, но ради своих политических целей Джойс в свое время скрыл американское подданство и сумел получить английский паспорт. Его защитник утверждал, что незаконность получения паспорта сводит на нет все обязательства сторон. Суд же решил, что, несмотря на обман со стороны Джойса, делавший его взаимные обязательства с Короной юридически недействительными, он, имея на руках британский паспорт, выданный по его же требованию, фактически встал под защиту британской Короны. А следовательно...

А следовательно Верховный суд, рассмотрев апелляцию, утвердил смертный приговор, и Уильям Джойс был повешен.

*

Пенсионер-фотограф Эмиль Гольдфус разлетелся в пыль. Мартин Коллинз оказался чистым вымыслом. „Величайший русский шпион века" оказался полковником Рудольфом Ивановичем Абелем.

А если бы тогда нашелся человек, способный сказать: „Я знаю Рудольфа Абеля. Этот человек — не Абель. Настоящий Абель похоронен в Москве на Немецком кладбище. Человека, которого вы собираетесь судить, зовут Вильям-Август Фишер. Он сын принявшего британское подданство Генриха Мэтью Фишера. Он родился в городе Ньюкастл-на-Тайне 12 июля 1903 года. Он гражданин Великобритании, которую покинул по законному паспорту в 1921 году. По паспорту, дающему право на защиту Короны

и обязывающему Вильяма-Августа Фишера соблюдать ей верность".

А сказать это мог живший еще тогда в США мой неприятный собеседник из гостиницы „Метрополь" в Валенсии, бывший руководитель советского шпионажа в Западной Европе, Александр Орлов, по кличке „Швед".

Разоблачить Вилли Швед мог, даже если бы мой друг назвался и любым другим именем. Но разоблачение навряд ли оказалось бы для Вилли роковым. Его грехи против Короны были давно покрыты сроком давности, и ему вряд ли могла грозить виселица за дела, относящиеся к предвоенным годам. То, что он был подданным Великобритании, лишь придало бы „полковнику Абелю" еще больший престиж, а всему процессу — пикантность. Правда, пройдясь по следам англичанина Вилли Фишера (ведь Вилли работал под своим именем), можно было бы и в Англии, и в скандинавских странах обнаружить много любопытного. Но все это было уже так давно!

Так что же может значить: „...Я проверял Шведа!"

Почему для того, чтобы с риском для жизни проверить Шведа, надо было назваться Рудольфом Абелем. Почему?

Кстати у Донована есть такая загадочная фраза. Чиновник, рассматривавший просьбу „полковника Абеля" выслать его в СССР, заметил, что фамилия „Абель" очень распространена в штате Техас. Вилли с улыбкой ответил, что эта фамилия немецкого происхождения. „Абель, однако, не сказал, — замечает Донован, — *что другие советские агенты использовали это имя в других странах, в другое время*".

Мне, впрочем представляется наиболее вероятным, что проверка не касалась какого-то конкретного случая, речь шла об общей надежности Орлова, у которого после бегства в Америку существовала с Москвой определенная договоренность.

Сам Орлов пишет об этом в предисловии к своей первой выпущенной за границей книге „Тайная история сталинских преступлений"*:

„Со всей возможной решительностью я предупредил его (Сталина), что если он осмелится мстить нашим (его, Орлова, и его жены. – К.Х.) матерям, то я опубликую все, что мне известно о нем. В доказательство моей решимости, я приложил к письму перечень его преступлений".

Книга Орлова вышла сразу после смерти Сталина. Написана она была, естественно, еще при его жизни. Можно ли сказать, что она содержит сногсшибательные разоблачения?

Книга состоит из двух неравных по объему частей. Первая – подробная история подготовки и проведения показательных процессов против партийной оппозиции. Там много интересных подробностей и впервые, насколько я знаю, прямо говорится, что Сталин был истинным организатором убийства Кирова; раскрыта техника подготовки этого убийства, приведены его мотивы. Орлов также подробно пишет о методах следствия, о фальсификации приведенных на суде доказательств. Разобран и ход процессов, указаны все нелепости и противоречия, допущенные в спешке следователями. Например, знаменитая история с несуществующей

* Alexander O r l o v : The secret history of Stalins crimes. – New York: Random House 1953.

гостиницей „Бристоль", где якобы встречались оппозиционеры, или с аэродромом, оказавшимся закрытым в то время года, когда, согласно обвинению, туда прилетал один из подсудимых, Пятаков.

(В 1957 г., когда Орлов убедится, что наследники Сталина не намерены особенно утруждать себя защитой его памяти, он опубликует в журнале „Лайф", также отталкиваясь от истории процессов и их подготовки, данные о сотрудничестве Сталина с царской охранкой. Но он никогда не будет отклоняться от линии партии.)

Вторая часть книги — это краткий набор анекдотических историй под названием „Сталинские хобби". Фактически всего две истории из жизни Сталина на кавказской даче.

Первая история: ночью Сталину мешал спать лай собаки, и он велел пристрелить пса. Узнав наутро, что этот пес — незаменимый поводырь слепого старика, отца старого большевика, и что охрана, сжалившись над инвалидом, отвезла его вместе с псом в Сухуми, — вождь мирового пролетариата приказал вернуть обоих и тут же застрелить. „Приказы исполняют, а не обсуждают!"

Вторая история — как Сталин приказал выселить из Абхазии в Казахстан целую горную деревню за то, что ее жители помешали сталинской охране гранатами глушить в озере рыбу, единственный источник дохода рыболовецкого колхоза. Сталин приказал зажарить ему рыбу к обеду.

Впервые книгу Орлова я читал в Москве. Каким-то сложным путем некоторые книги попадали из личной библиотеки посла Соединенных Штатов к

сотруднику американской редакции радио Николаю Курнакову. А от него ко мне.

Когда я прочитал таким образом книгу Орлова и рассказал о ней Льву Василевскому, тот возмутился:

„Орлов – мерзавец! Все эти истории рассказал ему я. Он никогда не служил в охране Иосифа Виссарионовича, а я служил!"

И он начал жаловаться на строгость Иосифа Виссарионовича, который всегда требовал четкого исполнения приказа:

„Однажды за ужином Сталин сказал Берия: „А помнишь, Лаврентий, еще до войны на базаре в Сухуми какой-то армянин торговал замечательно вкусным лимонадом?"

Его слова не успели замереть в воздухе, а специальная оперативная группа (дело было на Рице) на двух машинах уже мчалась в Сухуми. Люди знали, что если на следующее утро к завтраку не будет подан лимонад – беда!

Через НКВД и милицию быстро узнали имя армянина-лимонадчика. Он, однако, уже не торговал, жил на покое. Отряд нагрянул к нему домой, поднял с постели. С трудом объяснили перепуганному старику, в чем дело. Сказали: „Все нужное достанем, но чтобы было, как при царе!"

Была уже ночь, когда отряд двинулся обратно. Уже в пути кто-то сообразил, что старик сделал грушевый напиток. А ведь товарищ Сталин сказал „лимонад".

Страшно подумать, что было бы, привези мы вместо лимонада грушевый напиток. В лучшем случае сменили бы всю охрану. Помчались назад. Снова подняли старика. Достали лимоны. Потом была еще

возня с этикетками. Надо было узнать, какие этикетки клеил тогда старик на бутылки, сделать рисунок, напечатать, наклеить на бутылки.

Утром к завтраку подали Иосифу Виссарионовичу несколько бутылок лимонада. Он пить не стал, отослал на кухню.

О, он требовал абсолютной точности исполнения приказа!

Помню другой случай. Иосифу Виссарионовичу только что доставили из Швеции новую яхту. У нас ее только выкрасили в серый цвет, как военное судно, установили на корме два спаренных тяжелых пулемета. А так была яхта как яхта, со всеми удобствами.

Сталин решил покататься вдоль берега. И, по чьему-то недосмотру, забыли предупредить пограничную охрану. А ведь побережье — граница. И когда яхта пересекла линию, за которую судам выход запрещен, на берегу раздался предупредительный выстрел пограничника. Где-то высоко прожужжала пуля.

Охрана развернула яхту, с кормы ударили по пограничному посту из пулеметов. Сталин был в ярости. Он приказал тотчас выяснить, по чьей вине был произведен выстрел. Оказалось, что начальник сухумского ГПУ не передал вовремя приказ пограничникам.

„Ему не ГПУ заведывать, а овощами торговать!"

И начальник ГПУ до самого конца жизни прослужил заведующим Заготплодоовощ Абхазии.

А Орлов — мерзавец: все эти истории он знал от меня. Служить у Иосифа Виссарионовича было трудно. Он мог наказать даже за то, что не произо-

шло, но могло произойти", — закончил Василевский.

Вернемся, однако, к Шведу. Когда „полковник Абель" решает его проверять, Орлов уже опубликовал о Сталине все, что знал сам или слышал от своих бывших сослуживцев и подчиненных.

Если подвести итог его разоблачениям, то увидим, что он обвинил Сталина: а) в жестокости, б) в уничтожении старой большевистской гвардии, в) в фальсификации процессов.

Заметим, что все это относится к области нравственных оценок и политической борьбы. Причем — это отнюдь не ново. О том, что Сталин, уничтожая оппозицию, громил истинных большевиков, писали и раньше, и это ни на кого не производило особого впечатления. Людям, равнодушным к „мировой революции", это было безразлично, а преданные Москве коммунисты все равно до доклада Хрущева на закрытом совещании двадцатого съезда КПСС оставались непробиваемы.

Итак, если верить предисловию Орлова, то в прощальном письме он грозил опубликовать все, что знает о Сталине.

Но вот настал 1957 год, про Сталина опубликовано все, обе старушки-матери, надо полагать, умерли. А „полковник Абель" „проверяет Шведа".

Так, может быть, не в Сталине, или не только в Сталине было дело. Может быть, именно в Москве мне рассказали более точную историю прощального письма. А именно, что Орлов грозил не разоблачить Сталина, а выдать известную ему агентуру! Грозил нанести советской разведке сокрушительный удар.

Он, очевидно, этого не сделал. Не только пока была жива его мать, но и после ее смерти.

Уже в 1963 году он опубликовал на Западе книгу „Учебник разведки и партизанской войны", в которой „разоблачил" методы советского шпионажа за границей.

Читая эту книгу, я вспоминал военные годы и рассказы Вилли. Ибо книга Орлова – лишь сборник забавных и назидательных историй из жизни разведчиков, часто закамуфлированный рассказ об операциях 20-х и 30-х годов. Вероятно, любопытное чтение для профана или даже для американского профессионала тех времен, когда ЦРУ не было и в помине и когда президент Рузвельт сказал, обращаясь к будущему начальнику ООС Вильяму Донована: „Вам придется начинать с нуля. У нас нет разведки!".

То, что открытка с видами гор может иметь тайное значение, иное, чем приморский пейзаж или изображение исторического памятника, что условные сигналы можно оставлять на страницах телефонных книг в общественных местах, что существуют так называемые визуальные встречи, когда два агента, не произнося ни слова, издали лишь смотрят друг на друга, все это было хорошо известно по крайней мере со времени первой мировой войны. А в годы Сопротивления вошло в быт многих европейцев. Так что, рассказывая о подобных оперативных новинках в 1963 году, Орлов, прямо скажем, не наносил советской разведке непоправимого вреда.

Он не повредил ей и изложением общих концепций советского руководства: ставка на агентуру, а

не на обработку открытых источников, убийства, особая роль дезинформации и т.д.

Нет, все это он мог, очевидно, писать, не нарушая условий соглашения.

Прочитает человек этот „Учебник" и подумает: „Советская разведка – серьезная сила и она действует хитрыми методами". А какая разведка действует иначе?

Некоторые моменты кажутся странными.

Орлов говорит о „летучих отрядах", которые по приказу Сталина выезжали за границу для ликвидации политических противников. Но ни звука, например, о живших в Париже русских эмигрантах, которые принимали самое непосредственное участие в политических убийствах, пока не засыпались на убийстве Игнация Порецкого (Рейсса).

В конце книги он подробно рассказывает о подвигах легендарного капитана Николаевского, который, командуя в Испании партизанскими отрядами, всех поражал храбростью и смекалкой. Прослужив в испанских партизанских отрядах более года, я ни разу Николаевского не встретил, ни разу о нем не слыхал. А уж нам ли не старались поднять боевой дух всякими героическими историями!

И как лейтмотив книги Орлова: пока Сталин ее не разгромил вместе со старыми большевиками, советская разведка состояла сплошь из честных и бескорыстных идеалистов-революционеров, которые вербовали других идеалистов-революционеров. И лишь при Сталине туда хлынули беспринципные карьеристы!

Вторая тема: советская разведка никогда не бросает своих людей в беде, агентов любят и лелеют, а в случае провала вызволяют любой ценой.

По первому пункту замечу, что расцвет карьеры самого Орлова приходится на годы больших сталинских чисток. По второму – участь завербованных советской разведкой и провалившихся иностранцев была, чаще всего, незавидной.

Из участников убийства Игнация Порецкого Сергей Эфрон был расстрелян, а Франсуа Росси (Абьят) был послан перед войной преподавать французский язык в какую-то дыру в Белоруссии, откуда никто не удосужился его вызволить в момент наступления немцев. Там он и сгинул. Лишь Вадим Кондратьев, успевший по приезде в Москву быстро умереть там от чахотки, сумел избежать общей горькой участи.

Правда, Фильби живет в отличных условиях, и если и помрет раньше срока, то разве что от пьянства и скуки. Прогресс! Пример Фильби показывает, что времена действительно изменились.

„В начале тридцатых годов, – пишет Орлов, – резидентуры НКВД сосредоточили усилия на вербовке молодых людей из влиятельных семей. Политический климат тех лет благоприятствовал этому. Молодое поколение было восприимчиво к идеям свободы и стремилось спасти мир от фашизма и уничтожить эксплуатацию человека человеком. На этом НКВД и строил свой подход к молодым людям, усталым от бессмысленной жизни, удушающей атмосферы своего класса. И когда эти молодые люди созревали для вступления в коммунистическую партию, им говорили, что они могут принести гораздо больше пользы, если будут держаться подальше от партии, скроют свои политические взгляды и примкнут к революционному подполью".

Когда Фильби спросили, почему он согласился шпионить для русских, он ответил: „Разве можно

отказаться, когда вам предлагают вступить в отряд избранных?"

Еще бы! Ему, „усталому от удушающей атмосферы его класса", „созревшему для вступления в партию" (нет, вы подумайте, каким языком пишет Орлов! Причем в 1963 году!), подсказали надежнейший способ „уничтожить эксплуатацию человека человеком" – „примкнуть к революционному подполью", т. е. служить в английской разведке и работать на Москву.

В краткой биографии Орлова, помещенной в первой его книге, говорится, что он – участник гражданской войны, бывший партизан. Затем – заместитель генерального прокурора и один из авторов первого Уголовного кодекса РСФСР. С 1924 года (Вилли тогда служил в радиобатальоне) Орлов работал в ГПУ. С 1926 года – на оперативной работе за границей.

А потом – сразу: „В 1936 году он был послан в Испанию в качестве главного советника республиканского правительства по вопросам разведки и партизанской войны".

А десять лет – с 1926 по 1936 год? Все эти годы, когда руководство давало резидентурам НКВД за границей инструкции вербовать отпрысков знатных семей? Все эти годы Орлов находился в Западной Европе. Без него не делалось ничего. Когда Вилли отправился в конце двадцатых годов в свою первую заграничную командировку, именно Швед встретил его во Франции и перевез через Ла-Манш. Именно со Шведом он ходил на конспиративные встречи в лондонских „пабах" где, по мнению Вилли, Орлов вел себя глупо, как оперный заговорщик.

Когда во время войны я впервые узнал (от Мак-

лярского) историю оставленного Орловым перед бегством письма, в котором он обещал молчать и „не становиться врагом", если не тронут его мать, – я тут же рассказал об этом Вилли, у которого в то время квартировал.

– Ерунда, – усмехнулся мой ментор, – если уж он попал в лапы контрразведки, там из него душу вынули. (Он воспользовался английским выражением – „они его высосали досуха".)

Еще не побывав сам в „лапах контрразведки", он не представлял себе, что можно (в те годы, по крайней мере) ничего не рассказать, кроме общих мест.

После возвращения Вилли из США и сказанных им слов: „Я проверял Шведа", – меня долго распирало спросить, как оценивает теперь Вилли поведение Орлова. Но я ждал случая, когда мой друг будет в подходящем для такого вопроса состоянии.

Мы гуляли в лесу, который от поселка Старых Большевиков простирается до стрельбища Динамо, на станции „Строитель". Это как раз не доезжая станции Челюскинская. Гуляли с собаками. Миня встал посреди тропинки, а Бишка прыгал вокруг него, тщетно пытаясь убедить его идти дальше.

– Как по-вашему, – сказал я, сосредоточенно глядя на хлопающие уши спаньеля, – мог ли Швед при том положении, которое он занимал, не знать, скажем, о Фильби?

Когда пауза явно затянулась, я добавил:

– Так как же, после вашей проверки, Орлов все-таки оказался порядочным человеком?

В контексте разговора такое определение могло иметь только одно значение.

– Да, абсолютно порядочным!

Вилли улыбнулся. Кажется, подмигнул.

Заговорили о собаках. Неисчерпаемая тема для тех, кто понимает.

Пусть не Фильби, пусть другой. Но сколько таких, как он, спокойно работали все эти годы на Советский Союз, не боясь провала лишь потому, что их прикрывал Орлов?

Так не была ли проверка Орлова активной помощью ему?..

На пороге 1939 года укрывшийся в Мексике Лев Давидович Троцкий получил тревожный сигнал. В письме от 27 декабря 1938 года, посланном из Нью-Йорка, некий анонимный американец еврейско-русского происхождения писал, что вернулся из Японии, где виделся со своим родственником, недавно бежавшим из России чекистом Люшковым.

От имени Люшкова этот взволнованный обыватель сообщал Троцкому, что среди членов его парижской организации завелся опасный провокатор. Насколько Люшкову удалось узнать, этого человека зовут Марк. Люшков также мельком видел фотографию агента и по памяти дал его описание. Следовали точные приметы действительно проникшего к троцкистам советского агента Марка Зборовского, сумевшего стать правой рукой сына Троцкого, Льва Седова. Неизвестный сообщал даже такие подробности: агент женат, носит очки, у него есть маленький ребенок.

Это было, однако, не все. Русский еврей из Нью-Йорка призывал Троцкого к осторожности, предупреждал о готовящемся на него покушении, которое совершит либо приехавший из Парижа Зборовский, либо испанец, выдающий себя за троцкиста.

Пройдет немало лет и, давая показания одной из

Подкомиссий Сената США, Александр Орлов – он же Швед – заявит, что письмо это написал он. Нет оснований ему не верить. Нет также сомнения, что о Зборовском и о готовящемся покушении Орлов знал куда больше. Когда Орлов бежал в Канаду, а оттуда в США (вместо того, чтобы, следуя приказу начальства, явиться в Антверпен на борт советского парохода „Свирь" якобы для встречи с руководством), прошло уже полгода со времени смерти сына Троцкого Льва Седова. Орлов не мог не знать подробностей дела и роли Зборовского в этом убийстве, организованном советской агентурой.

Далее. 4 сентября 1937 года, то есть за год без малого до бегства Орлова, группа русских эмигрантов (Эфрон, Смиренский, Кондратьев – старые знакомые), действуя по приказу советской разведки, убила в окрестностях Лозанны многолетнего сотрудника ГПУ-НКВД Игнация Порецкого, порвавшего с Москвой из протеста против уничтожения Сталиным старой большевистской гвардии.

Порецкий скрывался. Найти и убить его удалось, благодаря Марку Зборовскому, который знал, что беглец назначил во Франции свидание с Львом Седовым.

Мог ли Орлов, находившийся в зените своего могущества, главный представитель НКВД в Испании, самый высший начальник надо всем, что касалось Испании, человек, имевший право лично докладывать Сталину, не знать об истинных обстоятельствах дела?

По-моему, не мог.

Ведь до самого своего бегства Порецкий занимался, в частности, закупкой оружия для Испании. Он был постоянно в поле зрения Орлова.

Кроме того, часть участников убийства Порецкого бежала в Россию через Испанию, где ничто не делалось без ведома и санкции Орлова.

В самой Испании, наконец, искоренение троцкизма и уничтожение троцкистов проходили под непосредственным наблюдением Орлова. Тайные тюрьмы, где троцкистов пытали и убивали, подчинялись Орлову, исполнители тоже подчинялись ему. Убийство лидера испанских троцкистов Андреса Нина, бывшего секретаря Троцкого немца Эрвина Вольфа, Марка Рейна (сына меньшевика Абрамовича) и многих других – все это дело рук Орлова-Шведа.

Более того, агентура Орлова в рядах испанских троцкистов была не только местного производства. Я лично знал двух таких „импортных" агентов. Один, Лотар Маркс, был немец, приехавший из Франции в одно время со мной. Он почему-то не служил ни в Интернациональных бригадах, ни в партизанских частях. Он периодически приезжал (в военной форме) к нам в часть или в барселонский дом отдыха на Авенида дель Тибидабо, 13. За ним Орлов присылал машину, и он ездил (обычно ночью) к нему на доклад. Он сам мне говорил, что служит в троцкистской части политработником. Он даже пролез куда-то в руководство троцкистов.

Другой случай. В доме датско-русского анархиста (и агента НКВД), знакомого мне по Парижу, Бронстеда я иногда встречал молодого русского еврея из Парижа по фамилии, если не ошибаюсь, Нарвич. Он когда-то был в Союзе возвращения, а в Испании почему-то оказался в троцкистской части. Тоже комиссаром. Причем батальонным!

Троцкисты раньше меня разгадали, в чем тут дело, и кокнули его в темном переулке. Тогда Брон-

стед объяснил мне, что герой пал в борьбе с троцкистско-фашистским отребьем.

Так что в агентурной работе против троцкистов в Испании Орлов все время опирался на парижскую резидентуру и с ней сотрудничал.

В письме Троцкому Орлов дает столь подробное описание Зборовского, что ясно — он его знал: „Женат, носит очки, имеет ребенка..." Но зная Зборовского, должен был знать, не мог не знать, что Зборовский — агент, но не убийца. Человека не посылают убивать без специальной подготовки.

Подготовку Зборовский мог получить либо в России, либо в Испании, в одной из наших партизанских школ, подчиненных Орлову. В Испании Зборовский не был. В СССР он ездить не мог из-за его особых функций среди троцкистского руководства в Париже.

Так что, указывая на Марка Зборовского, как на человека, способного совершить покушение, Орлов намеренно наводит Троцкого на ложный след.

А в отношении испанца, который будет выдавать себя за троцкиста, Орлов не грешит излишком информации. А мог бы быть и пощедрее.

На историческое задание — убийство Троцкого — Рамон Меркадер был послан первым заместителем Орлова Леонидом Эйтингоном. Перед тем, как уехать в Москву на подготовку и далее — на выполнение задания (он, кстати, не мог выехать из Испании без ведома Орлова), Меркадер служил в спецчастях, подчиненных Орлову, и выполнял задания в тылу противника. Он был у начальства на виду. Ведь его мать, Каридад Меркадер дель Рио, была любовницей Эйтингона и принадлежала к ближайшему окружению Орлова.

Вся операция с участием Меркадера была задумана и вступила в фазу практической подготовки и выполнения задолго до бегства Орлова, когда он еще царил в Испании. Он мог не знать, по какому паспорту и под каким именем будет действовать Меркадер, но его-то лично он знал! Знал, в частности, что тот говорит одинаково свободно по-французски и по-испански и может сойти за француза или бельгийца. Что и произошло.

Допустим, что Орлов был наивная шляпа, не учуял, что замышляет у него под носом его первый зам. Пусть. Тогда откуда слова о том, что покушение совершит испанец, выдающий себя за троцкиста?

Но когда он пишет Троцкому из Нью-Йорка, а потом даже звонит ему (но ничего нельзя расслышать, вот беда!), Швед не сообщает ни о роли Зборовского в убийствах Льва Седова и Игнация Порецкого, ни о личности возможного убийцы-испанца. Напиши он об этом, и Троцкий, вероятно, принял бы предупреждение всерьез. Более того, пожелай Орлов убедить Троцкого, – он назвал бы себя. Его письмо прозвучало бы совсем иначе.

Но Орлов темнит и путает, и письмо его приобретает в глазах Троцкого характер провокации. А тут как раз подоспело еще одно письмо, тоже анонимное, с разоблачением другой сотрудницы Троцкого, и „красный Бонапарт" отмахнулся, не захотел возиться в грязи!

Скажут: Орлов боялся назвать себя – за ним охотились. Отправив стольких на тот свет, Орлов, естественно, высоко ценил свою жизнь. Но в данном случае дело не в страхе. Разве не было бы еще надежней вовсе не писать?

А Орлов написал. Но написал так, что его предупреждение ничего не предупредило. Троцкий был убит.

Зато раскрыв через несколько лет свое авторство, Орлов укрепил доверие к себе людей ему нужных.

Я думаю об Азефе. Как будто скрупулезно выполняя свои агентурные обязанности, великий провокатор умел, когда требовалось, делать так, что охранка оказывалась не в состоянии помешать покушению, а его товарищи по партии попадались, не догадываясь, откуда направлен удар.

В 1904 году он вместе с Савинковым руководил подготовкой убийства министра внутренних дел Плеве. Азеф знал всех участников, получал донесения тех из них, которые вели наблюдение, проверял готовность бомбистов, был в курсе каждого шага. Ему ничего не стоило просто передать полиции список имен, адреса, явки, клички и пароли, указать систему наблюдения, установленного террористами...

Азеф же скрывал от своих шефов, что лично знает террористов. Он только якобы знал их приметы, отдельные клички. Никогда не давал настоящих имен. Он сообщал: готовится покушение. Вот приметы террористов, мол, найдете — ваше счастье. Не найдете — пеняйте на себя. Я предупредил. А перед террористами он тоже был чист. Он их не выдал. И Плеве был убит.

Повторяю, Орлов так писал Троцкому, что его письмо не могло сорвать операцию Эйтингона-Меркадера. Подготовка покушения могла продолжаться беспрепятственно с большими шансами на

успех. Посланный в Мексику сигнал не мог быть услышан и понят. Цель и адресат орловского послания были, я полагаю, совсем иные.

Зачем же он его писал? И кому?

Он писал его Сталину.

Орлов мог не сомневаться, что письмо станет немедленно известно советским агентам из окружения Троцкого и будет быстро передано на самый верх. Там без труда догадаются, кто на самом деле этот русский еврей из Нью-Йорка. И там-то сумеют оценить по достоинству бездну между тем, что Орлов действительно знал о готовящемся убийстве, и тем, что он сообщил Троцкому.

Орлову лучше других было известно, как мало шансов у крупного советского перебежчика умереть своей смертью. А он хотел спокойной, пусть относительно спокойной, жизни. Бежал он не из-за теоретических разногласий со Сталиным, а спасая шкуру. Будь он уверен, что его вызывают в Москву не чтобы быть расстрелянным, а чтобы расстреливать других, он, вероятно, с благодарностью принял бы новое назначение. Он сбежал от пули „исполнителя", но это еще не давало ему гарантию безопасной жизни. Где было взять такую гарантию? Скрываться без конца? Невыносимо, да и бесполезно. Найдут! Нет, надо сделать так, чтобы перестали охотиться!

Как добиться этого? Обещать молчать? Обещание без гарантии ничего не стоит. И никто не молчит так надежно, как мертвец. Значит, выход один: быть полезным, служить Сталину.

Но как сообщить Москве, что готов к услугам и ждешь приказаний?

Письмом Троцкому Швед давал знать о готовно-

сти быть полезным. Залог его преданности – пробитый Меркадером череп Троцкого.

Зачем, скажут мне, было действовать так сложно? Почему, раз уж так было нужно, не установить контакт с советскими представителями?

Резонно. Но устанавливать тайный контакт с какой-нибудь местной резидентурой было опасно. Его могли впопыхах кокнуть, не доложив выше по начальству. Да и молчание его могли оценить только на самом верху, там, где был известен весь объем знаний Орлова и все подробности готовящегося покушения на Троцкого. Только там могли понять, *что* он скрыл, и решить завязать с ним диалог.

Мы никогда не узнаем, когда и как начался этот диалог.

Письмо Троцкому было не только предложением услуг Москве, но также и залогом успеха этих услуг в будущем. Раскрыв через несколько лет свое авторство, Швед укреплял свой авторитет в глазах опекавшей его американской разведки, лишний раз подчеркивал, что он последовательный и ярый противник Москвы.

А в доказательство своей полной лояльности он даже помог разоблачить приехавшего в США Зборовского. Тот, уже честно послужив агентом в рядах троцкистов, сыграв свою роль и в убийстве Льва Седова и в убийстве Игнация Порецкого, потерял свою былую полезность. Зборовский оказался в американской тюрьме.

За кредит доверия Шведу кто-то должен был платить. За доверие к нему и Москвы, и Вашингтона.

Орлов прожил в США долгие и спокойные годы. Выпустил две книги и опубликовал несколько статей. А главное, он читал лекции для избранных, да-

вал советы по вопросам, касающимся советской разведки. Его содержательные доклады записывались, редактировались, печатались и шли в архив для использования специалистами грядущих поколений. И когда кому-нибудь нужна была квалифицированная справка, он всегда мог обратиться к соответствующим рассуждениям Орлова, ставшим пособием для молодых американских разведчиков, изучающих Советский Союз.

Нужно ли напоминать, что любая бумажка, покрытая архивной пылью, приобретает характер высшей истины!

Дезинформация не обязательно касается сегодняшнего дня. По Орвеллу: „Кто управляет прошлым, тот управляет будущим, а кто управляет настоящим, тот управляет прошлым".

Для пояснения своей мысли приведу пример из книги Джона Баррона „КГБ".

Это разительный пример того, как один лживый источник, один вольный или невольный дезинформатор может на долгие годы вперед свихнуть людям мозги на высоком уровне ответственности, если его ложь, его дезинформация повторяется безоглядно, усиливая с каждым повтором свою мнимую достоверность.

Некий сотрудник Патентного управления Министерства торговли США Аллен Бэйтс несколько раз посетил Советский Союз, интересуясь главным образом вопросом жилищного строительства. Русского языка он не знал совсем и полностью полагался на сопровождавших его официальных переводчиков. Он пришел к следующим выводам:

„Советский Союз является первой, и пока что единственной, страной, разрешившей проблему

обеспечения массы своего населения удовлетворительным и дешевым жильем". „Через несколько лет, – писал Бэйтс далее, – лет, возможно, через десять весь мир будет вынужден признать, что из граждан всех стран мира граждане СССР пользуются наилучшими жилищными условиями. Это будет иметь огромный политический резонанс. Сравнение будет убийственным для Соединенных Штатов".

Советские пропагандисты, от покойника Вышинского до еще здравствующего Юрия Жукова, любят повторять как заклинание, что у лжи короткие ноги. Повторяют, отлично зная, что это не так, что ложь шагает семимильными шагами, распространяется, как лесной пожар при засухе.

Джон Баррон напоминает, что советские руководители и советская печать в то же самое время, когда Бэйтс писал свои соображения, сетовали на никуда не годное состояние жилищного строительства в СССР, в частности, это делали Косыгин и Брежнев. Куда там! Бэйтс все равно написал то, что подсказали ему его советские опекуны.

А когда помощник заместителя министра торговли США Томас Лангман сел писать речь для своего начальника, и ему понадобилась справка по жилищному строительству в СССР, он взял отчеты Аллена Бэйтса и включил его выводы в текст. После чего, выступая в мае 1968 года, заместитель министра торговли США Говард Самюэльс заявил с трибуны со всем авторитетом своего положения:

„Советский Союз далеко обогнал Соединенные Штаты в смысле удовлетворения нужд населения в дешевом жилье и, вероятно, находится на пути к тому, чтобы стать первой крупной страной в мире, разрешившей у себя проблему трущоб".

Трущоба, кстати, понятие относительное. В редакции московского еженедельника „Новое Время" нам однажды дали переводить в качестве приложения серию статей о нью-йоркских трущобах, появившуюся перед тем в американской печати. Не помню, увы, ни названия газеты, ни имени автора. Зато помню характер правки нашего редактора, просмотревшего английский оригинал, с которого я переводил этот текст на французский.

Редакторский карандаш вычеркнул упоминание числа комнат в описываемых журналистом квартирах, упразднил его вздохи по поводу того, что у этих несчастных пуэрториканцев он увидел вовсе устаревшие марки телевизоров, холодильников и стиральных машин. И правильно — нечего вызывать зависть советского читателя. Ведь приложение шло и в русское издание журнала!

Вообще же, если сравнивать советское жилищное строительство не с Парижем и Нью-Йорком, а с мазанками Западной Сахары, то его успехи и впрямь захватывают дух.

Главное в этой истории другое. Заложенная где-то на невысоком уровне дезинформация, пройдя через усилитель чиновной иерархии, приобретает силу правительственной точки зрения.

Или просто точки зрения. А точки зрения, как известно, могут быть разные. И если вы хотите быть объективны, будьте любезны учесть и ту, и другую.

Советские средства информации постоянно к этому призывают. На опыте сотен подобных примеров могу утверждать, что такое выступление, как выступление Самюэльса, основанное на механически переписанных его помощником Лангманом ни на

чем не основанных утверждениях Бэйтса, послужило кому-нибудь в советской печати или на радио для написания чего-нибудь вроде: „Даже заместитель министра торговли США Самюэльс, этот верный слуга Уолл-стрита, которого нельзя заподозрить в симпатиях к нашей стране, вынужден был признать..." и т.д.

Итак, будем объективны!

Объективное суждение тем хорошо, что оно неоспоримо. Человек, мыслящий объективно, знает истину в последней инстанции, и спорить с ним бессмысленно. Он вас не слушает. Ведь вы-то необъективны!

На критические замечания, вызванные озабоченностью и тревогой за важное дело, люди объективные обычно возражают: „Что вы знаете об истинном положении дел? Мало ли что ЦРУ сообщает Конгрессу, мало ли что заявляет Государственный департамент! Там, где надо, знают! Там, где надо, судят на основании совершенно точных данных!"

Любители точных и объективных данных никогда не бывали забыты. Сегодня, в частности, нарастающая волна третьей советской эмиграции выносит на далекие берега ограниченное число отборных помощников для блистательных западных ученых-экспертов. Эти люди знают, что надо говорить и чего говорить на Западе не надо. Не надо говорить, что советское общество пронизано агентурой вдоль и поперек и что эмиграция, выплеск советского общества, пронизана ею в еще большей степени. Говорить так – известное дело, признак паранойи.

Говорить надо, что на смену нынешнему партийному руководству идут широко мыслящие прагматики (тут есть два варианта: либо прагматики –

военная верхушка, либо аппарат ЦК и специалисты вроде Арбатова). Умело делая Советам уступки, Запад может укреплять авторитет и продвигать к власти людей, с которыми завтра можно будет без труда договориться.

Эти люди знают, как преподнести выдержки из советской печати, как истолковать их в желаемом для американской администрации свете. Как можно не верить этим людям, если они документально доказывают, что играли в теннис с сыном министра иностранных дел, тискали внучку маршала (а сам маршал чуть ли не приезжал на аэродром провожать их в Израиль), если у них имеется фотография главы госбезопасности с дарственной надписью?

В хорошо мне известном исследовательском центре недавно бежавший из СССР профессор-международник беседовал с начальством. В силу своего бывшего положения профессор был, кажется, чуть ли не председателем окружной избирательной комиссии. Он рассказал своему собеседнику, что наблюдал в последние годы новое явление: люди, вместо того чтобы хитрить и в день выборов брать открепительный талон, якобы куда-то уезжая, просто не голосуют. Делайте что хотите. Интересно? Интересно.

Руководитель исследовательского центра слушал терпеливо этот необъективный, основанный на пошлых личных наблюдениях рассказ. Потупя взор, он, по своему обыкновению, шелестел на столе бумажками.

— Увы, то, что вы говорите, не находит никакого подтверждения. Согласитесь, что такой массовый отказ голосовать не прошел бы мимо внимания партийной печати. Особенно после того, как в Рязан-

ском обкоме произошли перемещения, указывающие на известный сдвиг в группах влияния в Кремле, где совершенно очевидно возрос вес прозападных элементов, вероятно, опирающихся на прогрессивные группировки Генерального штаба...

Московский профессор поспешил на свежий воздух.

Причем тут Орлов?

Напомню, что в 1938 году, когда сбежал „Швед", представители западных служб, которым надлежало проверить его лояльность, располагали очень скудным материалом для сопоставления и контроля. Да и служб-то настоящих не было. Легко было тогда завоевать доверие и стать ценным, на первый взгляд, источником информации, советником и оракулом.

Оракул вещал, объяснял методы работы советской разведки, использование телефонных книг в общественных местах как средство связи между агентами и прочие милые шалости. В общем излагал премудрость своего „Учебника разведки и партизанской войны". А ведь Орлову ничего не стоило вручить приютившим его американцам длинный список известной ему агентуры, раскрыть начатые разработки, известные ему операции, указать, что привлекает интерес советской разведки, кого Москва использует для проникновения в те или иные круги. Короче, он мог нанести советской разведке такой сокрушительный удар, что она еще долгие годы приходила бы в себя.

Ничего этого, однако, не произошло. Правда, на поверхность вышли лишь его показания в Подкомиссии Сената, опубликованные книги и статьи. Была, говорят, и закулисная сторона дела. Но если

судить об этой стороне по его письму Троцкому, то и она была отмечена печатью крайней осторожности и заботы – не повредить Москве. К тому же авторство свое Орлов признал лишь много лет спустя, когда письмо уже побывало во многих руках. В частности, у Исаака Дойчера, биографа Троцкого, и Дон Левина, крупного специалиста по советским делам. Они могли докопаться.

Перед Орловым был, следовательно, выбор. Либо признаться в авторстве письма без всякого риска, но с немалой политической пользой для себя, либо промолчать и рисковать, что правда всплывет, и у людей могут возникнуть разные нехорошие мысли.

Абсурдно думать, что Орлов бежал в США по заданию Москвы. В те годы такие операции не проводились. Уж во всяком случае, не на таком уровне. Просто Орлов был не из тех, кто ехал по вызову Москвы навстречу своей судьбе и покорно спускался за пулей в подвал Лубянки.

Но нежелание погибнуть не делало его противником режима. Режим был свой, родной, надо только, чтобы перестали расстреливать хороших и снова доверили им (таким, как Орлов) расстреливать плохих. Политически и психологически Орлов с советским режимом никогда не порывал.

Так что, ставя Сталину условие не трогать его мать в обмен на молчание, делая шаг навстречу советской разведке, устанавливая с ней позже контакт (в чем я не сомневаюсь), Орлов был озабочен не только своей безопасностью, но еще и нежеланием оказаться по другую сторону баррикады. Подобно Вилли (который был отличный человек, а Орлов, по-моему, большая сволочь), он не мыслил себя вне коммунизма. Тем более его врагом.

Не мыслили себя вне рядов коммунистического движения и разведчики, бежавшие на Запад незадолго до Орлова. И Порецкий, и бежавший вскоре после него Кривицкий — оба искали прежде всего связи с партийной оппозицией. Они хотели продолжать политическую борьбу со Сталиным.

Порецкий был в этом смысле абсолютно последовательным и даже не помышлял просить защиты у полиции капиталистических стран. Через несколько дней он был убит.

Кривицкий обратился за помощью к французам, позже к американцам, но не снюхался с Москвой. Он прожил дольше, дотянул до 1941 года.

Орлов был хитрее. Он понял, что порвав с Москвой, человек его профессии может прожить в свободном мире, лишь сотрудничая с местной разведкой. Он и сотрудничал. Но, чтобы прожить долго и без страха, надо работать на западную разведку с пользой для Москвы. Орлов жил очень долго и помер, говорят, совсем недавно.

Мне возразят: неужели все выжившие перебежчики, все бывшие советские разведчики заключили некий пакт с Москвой? Я так не думаю. Дело в том, что в годы, когда перебежал Орлов, а также в первые послевоенные годы убивали или старались убить любого беглеца. Но всякий людской поток (и поток перебежчиков и невозвращенцев — не исключение) рождает соблазн его оперативного использования. А с того момента — сравнительно недавнего — как Советы начали систематически разбавлять истинных перебежчиков и невозвращенцев липовыми, убивать уже было нельзя. Если убивать настоящих перебежчиков и оставлять в живых ложных, может получиться нехорошо. Если на-

оборот – тоже худо. Лучше уж не убивать никого. Тем более, что остается мощное оружие: политическое убийство, уничтожение с помощью дезинформации. Но об этом в другой раз.

Мне скажут: а как же история с болгарскими зонтиками, стреляющими ядом? Не знаю. Думаю, что это делается для поддержания мифа.

Мы не знаем и вряд ли узнаем, какие ложные концепции, полуистины и фальшивые сведения закладывал Орлов в мозги тех, кто его слушал. Какие почерпнутые из его лекций знания влияли затем на ход мыслей и взгляды молодых американских разведчиков. Мы не знаем, кого он прикрыл и кого помог завербовать.

А Вилли, возможно, знал. Или хотя бы догадывался. Ведь проверкой „Шведа" он остался доволен.

„Скажите, Вилли, по-вашему Орлов был порядочный человек?"

„Да, абсолютно порядочный".

Аминь!

*

И все же, скажут мне, на процессе Абеля была разоблачена советская шпионская сеть. Целая организация. Были названы имена.

Был назван Виталий Павлов – личность уже известная, давно погоревший в Канаде резидент. К моменту ареста Абеля Павлов в Москве – начальник, если не ошибаюсь, спецшкол Главного Первого управления.

Был назван Александр Коротков – бывший лифтер, ставший крупным начальником Первого управления. К моменту суда над Вилли Коротков давно уже помер.

Был назван Михаил Свирин, работник советской резидентуры в Нью-Йорке, где он находился под видом сотрудника секретариата ООН. К моменту суда он, разумеется, давным-давно вернулся в Москву.

Был назван финский моряк по кличке „Аско", якобы служивший курьером между Нью-Йорком и Москвой. Никаких следов „Аско" не нашли.

Еще до суда, сразу после явки в посольство США в Париже, Хейханнен назвал другого курьера, специально обслуживавшего резидентуру „Марка".

Курьер был якобы француз, работал в авиакомпании „Эр-Франс" и совершал регулярные рейсы между Парижем и Нью-Йорком.

Его кличка была, кажется, „Мар", настоящая фамилия — не то Ру, не то Леру, имя — либо Мишель, либо Марсель.

Поскольку „Марк" показал „Вику" только негатив снимка этого человека, описание внешности было весьма расплывчатым.

По просьбе американцев, французская контрразведка потратила на расследование этого дела несколько месяцев. Результат был, разумеется, нулевой.

Зато была названа Эллен Собелл, жена уже осужденного и отбывавшего в то время наказание сообщника Розенбергов Мортона Собелла (Соболевича). Только вот незадача: нерадивый Хейханнен связи с Эллен Собелл не установил, а предназначенные ей деньги, по собственному признанию, присвоил. Так что, Эллен Собелл так и останется лишь упомянутой. Излишне говорить, что самому Собеллу все эти разговоры ничем повредить не могли. Он был осужден, и никто не собирался судить его заново.

Появляется, однако, свидетель – он позже предстанет перед американским военным судом и понесет наказание – сержант армии США Рой Родс, бывший агент КГБ по кличке „Квебек".

Но Родс разоблачает только себя. Его показания никуда не ведут и ничем не могут повредить Абелю. Рой Родс никогда его не встречал, не слышал о нем. Зато низменная натура этого платного шпиона лишний раз оттенила благородство нашего главного героя.

Одна деталь меня смущает: завербованный в Москве, где он заведовал гаражом посольства США и попался на бабах и пьянках, Родс, после возвращения в Америку, обязался установить связь с советской разведкой, чего он, однако, *не сделал*. Не утверждая, что за это именно он был разоблачен, все же замечу, что, выдавая его американским властям, советская разведка ничего не теряла и, возможно, сводила счеты со строптивым агентом.

Подытожим: при том, что процесс Абеля был чрезвычайно громким (на аэродроме, когда его привезли из Техаса в Нью-Йорк, его встречало беспрецедентное количество журналистов), улов был удивительно ничтожен. Фактически нулевой. В подозрительном изобилии захватили технические средства связи (полые карандаши, болты, щетки) да шифры, которые позволили прочитать ничего не значащие сообщения. Ничего существенного найдено не было. Ни один действующий агент обнаружен не был. Ай да полковник Абель! Ай да молодец!

В 1969 году журнал „Советское государство и право", № 4/5, опубликовал статью А.В.Тишкова

„Рудольф Абель перед американским судом". Она заканчивается словами:

„Ну, а Хейханнен, что стало с этим предателем? После суда над Абелем он окончательно спился. 17 февраля 1964 года в „Нью-Йорк Джорнэл Американ" и в других американских газетах появилось сообщение о том, что Хейханнен погиб в таинственной автомобильной катастрофе на одной из дорог США. Никто не сожалел о нем".

На то похоже. Тишков хочет, как будто, дать понять, что Хейханнена настиг карающий меч КГБ? Но, кроме того, не только никто, видно, о „Вике" не сожалел, но никто не стремился и к гласности в этом деле.

Представители ЦРУ утверждали, что Хейханнен умер естественной смертью. Но в городке Киин, штат Нью-Хемшир, где он жил, никаких следов его кончины нет. Их нет и в соседних городах.

Все, кто пытался узнать подробности гибели Хейханнена, упирались в глухую стену. В том месте, где, по сообщению печати, произошла смертельная катастрофа, никаких дорожных происшествий в этот день не зафиксировано.

Незадолго до того телевизионная компания Эн-Би-Си записала с Хейханненом интервью. В конце передачи ведущий говорил, что „после своего бегства Хейханнен, которого называли Юджин Маки, находится на северо-востоке Соединенных Штатов под защитой и на содержании Центрального Разведывательного Управления. Мы можем добавить, — продолжал ведущий, — нас даже просили это сказать, что если найдутся другие Юджины Маки и захотят прийти к нам, им гарантирована безопасность и материальная поддержка".

Узнав о смерти Хейханнена, авторы передачи хотели ее отменить. Им рекомендовали этого не делать и ничего в ней не менять. Они так и поступили.

Гибель Хейханнена как будто отметает, как вздорную, мысль о его ложном предательстве, о том, что выданная на поживу ЦРУ и ФБР „резидентура" Абеля была уже ложной резидентурой, превращенной к моменту провала в пустышку, миф. Хорошо! А что сделала бы Москва, чтобы продлить доверие к „Вику", если бы американцы начали его подозревать?

Защитник Вилли, Донован, сам бывший разведчик, сказал о смерти Хейханнена: „Таков их обычный конец!"

18. НУЖНЫ ЛИ АБЕЛИ СЕГОДНЯ?

— Может ли сегодня появиться новый Абель? — спросил меня недавно один друг-англичанин, допускавший, что редакция журнала „Проблемы мира и социализма" в Праге может служить центром подготовки будущих шпионов высшего класса.

Вилли, когда вернулся из США, говорил мне, что к тому времени в системе советской заграничной разведки таких, как он, нелегалов осталось человек пять, не больше. С тех пор они вряд ли расплодились.

А сегодня, полагаю, нелегал, подобный Вилли — анахронизм вроде колесного парохода или почтового голубя. Существует, но пользуются им мало.

Революционер или сын революционера, ставший шпионом, был устаревшим персонажем еще к началу второй мировой войны. Волны чисток унесли

этих людей, а на их место пришли совсем другие – бюрократы от разведки. За пределами страны еще действовали предатели-идеалисты, вроде Фильби, но для связи с этими динозаврами всегда хватало и хватает огромной армии официальных представителей.

(К слову: крупнейшая американская авиакомпания „Пан-Американ" имеет в Париже тридцать пять служащих, за „Аэрофлотом", говорят, числится чуть не в двадцать раз больше.)

Мы живем в эру массового шпионажа. Достаточно известно, в каком количестве засылает своих агентов на Запад разведка ГДР! Кустарей-одиночек извлекла из архива война, а удержала их еще какое-то время особая обстановка, сложившаяся после войны в советском атомном шпионаже.

Может, однако, и снова так все сложиться, что срочно начнут готовить новых „Абелей". И почтовых голубей.

*

Название „Проблемы мира и социализма" – неброское. А раньше журнал назывался „За прочный мир, за народную демократию". Так, говорят, пожелал Сталин, чтобы, произнося название, люди невольно провозглашали навязанный им лозунг.

Журнал был тогда органом Коминформа. Сегодня он сам своего рода Коминформ.

Как печатный орган, этот издаваемый в Праге журнал носит чисто условный характер. Ничто не изменится, если он перестанет выходить, но будет сохранен аппарат редакции и его структура.

Какова же она?

Я три года – с 1965 по 1968 – проработал во французском издании журнала переводчиком. Полагаясь лишь на свою память, не буду входить в подробности.

Думаю, что с конца шестидесятых годов произошли лишь незначительные изменения.

Во главе журнала стоит шеф-редактор, назначенный ЦК КПСС. Его заместителями являются два ответственных секретаря: один, назначенный Москвой, другой, представляющий ЦК КПЧ. Они формально абсолютно равны в правах и обязанностях. Бывает – так было, когда я приехал в ноябре 1965 года, – что чешский представитель занимает в своей партии куда большее положение, чем советский. Так, Славик был секретарем ЦК, а Александр Соболев не был даже членом ЦК. Но, по неписаному закону, советский – „главней". И шеф-редактор с русским ответственным секретарем так согласуют обычно свои отлучки, чтобы один из них всегда присматривал за хозяйством и редакция не оставалась бы под руководством чеха.

Принципиальные политические вопросы решаются редакционной коллегией, которая обсуждает все намеченные к публикации статьи. Обсуждение статей на редколлегии и есть главный момент в жизни журнала. Тут сталкиваются и сопоставляются различные точки зрения, выясняются позиции различных партий. Очередной номер журнала – это прежде всего отражение этой дискуссии, ее результат.

Редколлегия распадается на большую и малую. Состав большой включает так называемых корреспондентов партий, в малой, кроме шеф-редактора,

ответственных секретарей и некоторых старших редакторов, заседают только представители партий и начальники отделов (как правило, это одни и те же лица).

Целый ряд вопросов малая редколлегия решает в рабочем порядке, привлекая широкий состав лишь тогда, когда сочтет нужным.

Между представителями и корреспондентами партий существовали различия.

В принципе представителей в журнале имеют либо правящие партии соцстран, либо самые крупные партии некоммунистических стран. Такие, как французская или итальянская.

В малую редколлегию попадают путем кооптирования. Подбор, естественно, делается в соответствии с интересами ЦК КПСС, который, с помощью представителей Польши, ГДР, Венгрии, Чехословакии, Болгарии, да часто и Румынии, располагает во всех случаях абсолютным большинством. Представители французской и итальянской компартий делу не мешают.

Представитель имеет более высокий, чем корреспондент, статус. Прежде всего — оклад. Он получал в те годы — 1965-1968 — 6.600 чешских крон в месяц. Какую-то часть зарплаты — в твердой валюте. Он имел право на большую и лучшую квартиру, его поездки куда угодно и когда угодно щедро оплачивались редакцией как служебные. Даже если доподлинно было известно, что он поехал повидать родственников.

Он мог не беспокоиться о получении вне всякой очереди путевки на лучшие курорты социалистических стран, в самые роскошные дома отдыха Кры-

ма, Кавказа или Подмосковья. Разумеется, за чисто символическую плату.

Корреспонденты получали меньше: 4.500 крон в месяц и никакой твердой валюты. Об оплате расходов на поездки им приходилось каждый раз просить. И тут уже все зависело от отношения руководства. А отношение определялось его, корреспондента, поведением. И путевку ему давали не так щедро: в Подмосковье могли послать в осеннюю слякость, а в Крым — в разгар летней жары.

Было также между представителями и корреспондентами одно существенное различие. Первые назначались теми или иными партиями, вторые — сплошь да рядом не представляли никого. Они просто были наняты.

Часто бывало так: молодой коммунист из какой-нибудь страны Латинской Америки, арабского мира, а то и просто сын многодетного африканского вождя, заканчивал учебу в Московском университете имени Лумумбы или в Восточном Берлине, или в Софии, или в Варшаве.

Наступал грустный момент. Учеба закончена, диплом получен, надо ехать домой. Под родные пальмы! Если родина „прогрессивная", то хорошие места там могут быть заняты. Если она не прогрессивная, могут и на кол посадить, и расстрелять. А тут сложились привычки. Рыдает подруга — русская, немка, полька, болгарка... И в тот момент, когда, кряхтя, новый инженер или агроном, врач или историк, политолог или экономист пакует в отчаянии чемоданы, ему вдруг делают предложение: „Хотите работать представителем вашей партии?"

А к партии он принадлежит, разумеется, самой

прогрессивной, какую только выдерживает жаркий климат его развивающейся страны.

С руководством партии, если таковое существовало, вопрос как-то улаживали. Корреспондент обосновывался в Праге.

Что от него требовалось? Безделица. Правильно голосовать на „большой редколлегии"? С этой задачей он справлялся без труда. Изредка писать статьи о революционной борьбе в его далекой стране? За него это делал русский референт. Нужно ли объяснять, что за такую непыльную работу корреспонденты держались мертвой хваткой!

Мало что делали и большинство представителей. Для Франсиско Антона, представителя коммунистической партии Испании, работа в Праге была заслуженным отдыхом. Вся его долгая революционная карьера заключалась в том, что он был многолетним любовником Долорес Ибаррури.

Редакция журнала делилась на отделы. Отдел соцстран, отделы философии, экономики, Латинской Америки и т.д. Во главе, как правило, стоял иностранец, представитель одной из компартий. Ему — почет и деньги. А его заместителем бывал чаще всего присланный из Советского Союза специалист. Он-то и вкалывал.

И не было нужды навязывать шефу-иностранцу волю „старших русских товарищей". Срабатывал простейший механизм: кто устоит перед соблазном — ровным счетом ничего не делать за хорошую зарплату и все предоставлять делать другому?

Когда по отдельным вопросам собиралась „большая редколлегия", особенно если предстояли взбрыки итальянцев или румын, проводилась предварительная индивидуальная обработка представи-

телей и корреспондентов. С первыми нехотя – так и быть! – беседовал сам Францев, позже, надо полагать, Зародов. А с последними – чаще всего мой шеф по французскому изданию, Пьер Энтжес, или кто-нибудь из доверенных лиц. В такой подготовке заседания „большой редколлегии" вся штука была в умелой дозировке политических и материальных доводов. В искусстве изящно дать взятку, тактично пугнуть. Ленивый Юрий Павлович Францев такими беседами брезговал. Энтжес их обожал! К тому же ему от такого посредничества всегда что-то перепадало.

Как это все пошло при Зародове – не знаю. Вскоре после его прихода меня как раз из журнала и выгнали.

Но если члены редколлегии в основном бездельничают, часть из них никого не представляет, журнал как печатный орган никому не нужен и мог бы не выходить, зачем же он существует? Ведь он, наверное, стоит дорого?

Сколько – не знаю. Львиную долю расходов платит, конечно, КПСС, но и с братских партий соцстран снимают солидную дань. С партиями капстран вопрос решается как-то хитро. Мне пришлось однажды переводить письмо ЦК компартии Франции. Французские товарищи торопили советских товарищей скорее перевести куда следует деньги (речь шла всего-навсего о тридцати тысячах долларов!), которые французские товарищи внесут затем открыто и торжественно в бюджет международного органа коммунистических и рабочих партий.

Судя по упомянутой сумме, участие западных компартий скорее символическое. Зато и влияния они не имеют. Когда все советские сотрудники ре-

дакции трудились над составлением подробного проекта переезда журнала в Вену, где он печатался бы в типографии „Фольксштимме", что послужило бы сильным подспорьем для партии австрийского пролетариата, представителям компартий об этом плане даже не говорили. Из затеи, впрочем, ничего не вышло. Но, уж во всяком случае, не из-за денег. Я полагаю, что созданный уже позже в Вене институт под руководством Гвишиани стоит Москве не меньше.

Является ли журнал „Проблемы мира и социализма" органом пропаганды?

Если считать пропагандой прямое воздействие на массу читателей, то — не является. А как средство косвенного идеологического воздействия? Тогда да, является. Особенно воздействия на мировое коммунистическое движение, а через него — на внешний мир.

Является ли редакция филиалом политической разведки и КГБ? И да и нет.

Готовит ли шпионов редакция журнала „Проблемы мира и социализма"? Журнал, конечно, своего рода легальная шпионская организация, коллективный разведчик, центр сбора и первичной обработки информации. Кроме того, это оперативная база для работников КГБ и ГРУ. Является ли она центром подготовки агентов?

*

Итак в Праге, в комфортабельном здании на улице Тхакурова, 3, собраны под одной крышей, в одном курятнике, какие-никакие представи-

тели фактически всех компартий мира, за исключением прокитайских.

Эти представители связаны – иногда тесно, иногда не очень – со своими партиями и странами. Через них в Прагу поступает информация, первично оценивается. Сведения затем идут в Москву, в международный отдел ЦК, сотрудники которого, таким образом, сразу предупреждены о возможных трудностях. Там знают, на кого можно повлиять местными, пражскими средствами, кого пригласить в Москву, на каком уровне и кому сунуть взятку.

В камерных, почти лабораторных условиях советское партийное руководство может проверить и отработать свои новые концепции и политику в отношении мирового коммунистического движения. Члены редколлегии журнала служат подопытными кроликами.

Журнал, однако, больше, чем простое передаточное звено. Аппарат редакции (особенно в своей советской части – редакторы и референты) играет довольно активную роль. Этому аппарату предоставляются (так, по крайней мере, было до 1968 года) весьма широкие, по советским понятиям, возможности.

Хотя большинство сотрудников, уже работая в СССР, пользовалось так называемым „допуском", то есть имело право читать иностранную прессу, тут они получают возможности куда большие. Если в Москве человек читал иностранные газеты и журналы в специальной библиотеке, строго по своей специальности, книги листал в спецхране, то в Праге ему прямо в кабинет принесут всю западную прессу, а из библиотеки он может взять на

дом (почти немыслимо в СССР!) любую, самую антисоветскую книгу.

Поездки. В Москве командировка на Запад всегда требует длительной процедуры, сложного, каждый раз заново, оформления. В Праге сотрудник может без дополнительных формальностей, с разрешения шефа-редактора или ответственного секретаря (с автоматической санкции посла) отправиться на казенный счет в любую страну мира.

При мне некоторые сотрудники по нескольку раз выезжали, в зависимости от их специальности, кто в Латинскую Америку, кто в арабские страны, кто во Францию или ФРГ. Без них не проходят идеологические съезды, конференции, симпозиумы. Тех, кто занимался вопросами социологических исследований, посылали даже работать в соответствующие центры на продолжительное время.

Была дополнительная выгода в том, что на съезд или семинар человек приезжал из Праги, а не из Москвы. Для западных людей это как бы выводило его за рамки советского представительства. (Аналогичную роль в этом смысле играет другой советский постоянный центр за границей, Институт систем управления в Лаксенбурге, под Веной. С зятем Косыгина Джерменом Гвишиани в качестве замдиректора и существующий на советские деньги, этот институт посылает своих представителей на международные встречи – например, на Всемирный философский конгресс в Дюссельдорфе в августе 1978 года, – даже не упоминая о какой-либо связи с СССР.)

Было бы, однако, упрощением полагать, что сотрудники журнала – работники КГБ и ГРУ, для которых занятие философией, историей, социологией или экономикой – просто прикрытие. Таких в

журнале тоже, разумеется, немало, но разведывательная работа в узком смысле слова все же играет, мне кажется, второстепенную роль. А главная задача журнала: сбор и обработка информации обо всех аспектах мирового коммунистического движения – именно для предварительной наметки альтернативных *политических* решений.

Окончательные решения принимаются, разумеется, в Москве, но и в Праге делается немало. Еще в период, когда Пражская весна только зарождалась, в редакции уже шли разговоры о том, что процесс внешней эмансипации западных компартий пора ставить на твердые рельсы и, контролируя, развивать его. В этом видели способ, прежде всего, предотвратить экономическую, а затем и политическую интеграцию Европы.

О военной угрозе со стороны НАТО говорили не иначе как с издевкой, но возникновение на границах социалистического блока монолитной, экономически крепкой и процветающей Европы считалось чем-то вроде катастрофы для внешней политики СССР.

Противоядие видели, в частности, в том, что сегодня называют еврокоммунизмом („Нам надо, чтобы коммунисты сидели в Совете Европейского рынка и в штабе НАТО"), и в мерах по развитию торговли между Востоком и Западом, с целью отвлечь на Восток часть экономических интересов западных стран и по возможности затормозить координацию их экономических усилий.

Нет нужды подробно рассказывать об этих планах: они у всех на глазах с успехом проводятся в жизнь.

И еще одно назначение „Проблем", возможно,

основное: это школа квалифицированных *политических,* а следовательно отчасти разведывательных, кадров.

На работу в редакцию приходят чаще всего сравнительно молодые люди, недавно окончившие Московский институт международных отношений или университет и проработавшие несколько лет либо в одном из московских институтов, либо в редакции журнала „Новое время", либо в одной из столичных газет, в ТАСС или агентстве печати „Новости".

В Праге, в отличие от его прежней службы, а также от его новых коллег-иностранцев, такой молодой специалист должен вкалывать. В этом есть еще и политический смысл. Советские редакторы и референты состояли чаще всего при иностранных представителях в качестве заместителей и, потакая естественной лености своих боссов, фактически выступали от их имени на страницах журнала. Так укрепляется политическое единомыслие!

В Москву такой работник возвращался, как правило, с повышением. Если им были довольны, новую работу ему подыскивал ЦК КПСС, организация с немалыми связями. Если им были очень довольны, его брали на работу в аппарат ЦК.

Самая хрестоматийно удачная карьера из мне известных: Вадим Загладин. Этапы этой карьеры: Институт международных отношений, журнал „Новое время", журнал „Проблемы мира и социализма", международный отдел ЦК и, наконец, должность первого заместителя заведующего этим отделом.

Можно сказать, что разработка внешнепартийной и просто внешней политики Советского Союза довольно давно и все больше находится в руках именно таких людей – получивших отличную теоретиче-

скую и практическую подготовку, прекрасно ориентированных во всех мировых проблемах, лично знающих многих политических и государственных деятелей Запада, постоянно разъезжающих по всему миру.

Это не политические боссы, это лишь исполнители воли боссов. Но это те помощники и референты, которые во всем мире готовят для своих шефов политические решения.

Боссами они, чаще всего, не станут никогда, ибо в советской системе к вершинам власти идут иной тропой, но они всегда будут где-то недалеко за кулисами.

Встречая этих высокообразованных и неглупых людей, человек с Запада вздыхает с надеждой: скоро на смену нынешним догматикам, маньякам мирового господства придут люди помоложе, покультурнее, хорошо знающие внешний мир, – прагматики, либералы, реформаторы. Можно с уверенностью сказать, что эти люди будут действовать, – и уже действуют – гораздо тоньше и эффективней, чем прежние.

В усовершенствовании методов покорения мира и состоит основная задача редакции журнала „Проблемы мира и социализма" на улице Тхакурова, 3, Прага-Дейвице.

Там не готовят „полковников Абелей", зато готовят людей, которые будут руководить работой подобных полковников.

Кроме того, это иллюстрация важного процесса, который с трудом проходит на Западе, а в СССР давно завершен и теперь лишь усовершенствуется. А именно: полное срастание шпионажа и внутреннего

полицейского аппарата с аппаратом государственной и партийной власти.

Процесс, очевидно, диктуется историей. Но на Западе стоит наметиться такому срастанию, как бурная реакция общественности и средств информации прекращает его в зародыше.

В СССР же невозможно провести грань между аппаратом ЦК, КГБ, дипломатической службой, внешнеторговыми организациями, армией и официальными деятелями культуры. Все делают одно и то же дело, все трудятся в одном направлении.

Редакция пражского журнала отражает, как капля воды, одну особенность советской системы. А именно: что на всем огромном пространстве советского блока каждый рабочий день, от девяти до пяти по местному времени, – сотни тысяч специально отобранных и обученных людей отдают все свои интеллектуальные силы одному делу и одной цели: распространению политического влияния СССР, то есть покорению мира мирными средствами.

Это делается и через культурный обмен, и через торговлю, и через шпионаж, и через профсоюзные связи или туризм. Над достижением этой главной цели трудятся политики и шахматисты, академики, писатели и цирковые артисты.

Работа дипломата, хоккеиста, профсоюзного деятеля, моряка или профессионального убийцы оценивается по степени ее полезности для достижения той же цели. Некоторые утверждают, что не следует преувеличивать действенность такого наступления. Посмотрите, мол, какие посредственности руководят Россией, какое отчаянное положение в самой стране! Где уж им идти к мировому господству!

А между тем, бездарность руководства — признак не слабости системы, а ее силы, ее отлаженности и способности самонастраиваться.

„Главный" может быть слюноточивый кретин и тщеславное ничтожество, он может всем на посмешище печатать под своим именем глупейшую военную фантастику и с высокой трибуны косноязычно читать по складам написанные для него речи — настоящая работа идет.

Некоторые утверждают, что сама структура советского общества широко открывает дорогу бездарностям. Эта соблазнительная и утешительная теория представляется мне опасной иллюзией в отношении высшего партийного руководства.

Работа в Праге привела меня к мысли, что топорность советских высших руководителей относительна и обманчива. Если применять критерий интеллектуального развития и культуры — топорность эта вполне реальна. Дело же в том, что критерием роста в партийной иерархии является не интеллект (он может даже и быть, он не обязательно противопоказан), а инстинкт. Инстинкт власти, инстинктивное умение определить, что для власти полезно, а что вредно.

Пример СССР показывает подчиненность роли интеллекта в государственной машине. Величайшая, пожалуй, победа советской власти (наряду с созданием „гомо советикус") — это выделение лабораторно чистой функции власти.

От царицы муравьев не требуют, чтобы она была бойцом или строителем. Это не ее функция. От советских руководителей нельзя требовать, чтобы они практически разбирались в каких-либо вопросах. Для этого есть подчиненные, помощники. Дело ру-

ководителей – решать, что хорошо для них, а что плохо. И пока они не ошибаются в своих решениях, их власть крепка. Иначе – судьба Хрущева их не минует.

Однако, чтобы инстинктивные безошибочные, но весьма подчас безумные решения облеклись в плоть и кровь решений разумных, членам Политбюро необходимо держать целую армию „умных мальчиков".

*

Мы познакомились с К., прогуливая собак. Он – прыгучего сеттера, я – флегматичного чау-чау Миню (по паспорту – Али-паша фон Лангенгрунд). Собаки играли, то есть сеттер прыгал вокруг неподвижного Мини.

К. человек на редкость одаренный и всесторонний. Кандидат наук (точных), окончивший также гуманитарный факультет, знаток истории русской философии и искусства.

Мы часто виделись, болтали, обменивались Самиздатом и Тамиздатом, комментировали последние выпуски „Хроники текущих событий", которую получали из разных источников.

Верующий человек, мой сосед ходил в церковь неподалеку от наших домов. Он крестил сына. Жена его тоже крестилась.

Он был членом КПСС.

Когда научно-исследовательский институт, в котором он работал, закрыли, он какое-то время искал новую работу. Потом, после некоторого перерыва, мы снова встретились. Он ходил повеселевший: новая работа в закрытом институте была увле-

кательной, зарплата – на сто двадцать рублей больше прежней, в близком будущем обещано крупное повышение и очень высокий, по советским меркам, оклад.

Институт принадлежал к системе КГБ и занимался разработкой воздействия пропаганды на массы.

Как-то он невзначай сказал, что начальству его отлично известно и про церковность и про Самиздат, и про то, что он читает Бердяева.

– И как?

– А им это безразлично. Все силы я отдаю работе над темой. А тема очень интересная. Это может быть открытие посильнее атомной бомбы!

Возможно, это и так.

Вывод? Он прост. При железном советском принципе – „от каждого – по способностям, каждому – по труду" – вы можете быть уверены, что если получаете больше денег, чем сосед, то, значит, и пользу приносите государству большую. Соучастие же растет пропорционально вознаграждению. Последнее может быть денежным или выражаться в привилегиях. И даже – в большей степени свободы, – как у моего соседа. Ходите в церковь и читайте Самиздат, нам это безразлично. Только не распространяйтесь об этом и работайте честно. И вам дадут звание. Моему соседу должно было быть присвоено звание майора КГБ.

*

Одно время журнал выполнял еще и другую функцию. Он был тем „окном в Европу", через которое интеллектуальному Западу показывали новое советское свободомыслие. Это было в период до

прихода Францева, когда шефом-редактором был Румянцев. При нем процветали сотрудники смелые, либерально мыслящие, пишущие на грани самиздатовского вольнодумства. Одни пили запоем, другие почти вовсе не пили. Но мысль их парила высоко и вольно.

За такое вольнодумство одного молодого философа захотели, по возвращении его в Москву, исключить из партии. Райком требовал покаяния, признания ошибок, философ упирался, требовал разбора в ЦК.

В комиссии под председательством члена Политбюро Пельше философ-бунтарь произнес речь в защиту своей принципиальной позиции и потребовал, чтобы их с Пельше оставили наедине.

Пельше велел всем удалиться. О чем они с бунтарем говорили, знают только они двое. Когда члены комиссии вернулись, Пельше сказал:

– Это наш человек!

Философ-бунтарь остался в партии. Правда это или вымысел? Не знаю. Слышал от верных людей.

19. НЕ ВСЯК ГЕРОЙ, КТО СМЕЛ

Еще со сталинских времен существует в СССР непререкаемый закон: не признавать героем того, кто действительно совершил подвиг. На трудовом фронте дело просто: за классического Героя труда, вошедшего во все энциклопедии Стаханова, работала целая бригада. А во время войны, когда, видит Бог, не было недостатка в истинных героях, предпочитали, по возможности, создавать их на пустом ме-

сте. С ложным героем спокойней. Он знает, кому всем обязан. Партии!

Когда отгремела шумная американская слава, легендарный „полковник Абель", вернувшись на родину, погрузился в трясину бытовой серости и убожества советского служащего.

Легла в больницу жена – Елена Степановна. Вилли попросил начальство помочь ему достать для нее икру в закрытом магазине КГБ (за его, разумеется, деньги).

– Пишите докладную Юрию Владимировичу (Андропову), я поддержу. Но больше двухсот граммов не просите.

За небольшую взятку моя жена достала икру в соседнем гастрономе.

Вилли ворчал на начальство не только по этой причине:

– Вот вам пример уровня этих людей. Мне дали на отзыв план ликвидации...

– За границей? – задал я глупый вопрос.

– Разумеется. Один наш идиот предложил: выследить объект, установить, в какой он остановился гостинице, взять утюг и якобы относя ему белье из стирки...

– Утюг привозят из Москвы или покупают на месте?

– Из этого ничего не вышло. Но уровень, уровень!

– Вилюше не дали звание Героя Советского Союза, – говорила Елена Степановна, – потому что Указ надо печатать в газете. А фамилию Фишер могут принять за еврейскую.

Вилли чувствовал, что на пути его к верхам чеки-

стской иерархии возникают невидимые препятствия, но искал их подчас не там.

– Почему вам дали свиной котух на Проспекте мира, а Питер и Лона живут как боги в одном доме со Святославом Рихтером на углу Большой и Малой Бронной, в прекрасной квартире?

Вилли обиженно-наставительно:

– Начальство помешано на вербовке. Питер завербовал всех, кто служил с ним в Испании в бригаде Линкольна. Вот с ним и носятся! – И уже яростно: – А я никого в своей жизни не завербовал!

Верю!

Но причина плохого к нему отношения начальства не в том, что не завербовал, а в том, что возвел это в принцип. Да что там – не завербовал! Меня так и вовсе отвадил. Возможно, что и не одного меня.

То есть причина в виллином характере.

*

Тесно было в двадцатисемиметровой двухкомнатной квартирке. Чтобы создать сносные условия, пришлось перестраивать и переоборудовать домик в поселке Старых большевиков на станции Челюскинская по Ярославской железной дороге, оставшийся в наследство от матери Вилли, Любовь Васильевны Фишер.

На перестройку и оборудование ушли все сбережения.

Во всем мире загородный дом требует постоянного ремонта. В Советском Союзе необходимость что-то покрасить, подлатать, перестроить – превращается в кошмар. Не только достать любой материал – что краску, что гвозди – безумно трудно, но еще и

советские умельцы любой ремонт, любую работу выполняют так, чтобы не иссякал источник дохода. Починенная крыша через две недели начинает протекать, настланные полы вспухают, двери не закрываются.

Этот спасительный домик – единственное приемлемое жилье для семьи Фишеров – поглощал целиком всю полковничью зарплату со всеми к ней добавками: за выслугу лет, за должность, за звание и так далее, причитавшиеся легендарному Рудольфу Ивановичу Абелю, прославленному советскому разведчику, орденоносцу. Получал он пятьсот рублей в месяц.

Под кухонным полом развелись крысы. На них напрасно тявкали суетливо-нерадивые Пегий и Бишка. А сам Вилли часами подстерегал их с ружьем. (До стрельбы, слава Богу, не дошло. Не знаю, как представлял себе штаб-офицер Фишер результаты стрельбы крупной дробью в тесной, заставленной посудой кухне...) У штаб-офицера с огнестрельным оружием были какие-то странные отношения. Полагавшийся ему служебный пистолет он, как и в годы войны, хранил – от греха подальше – в сейфе на работе. Ружье, которым он грозил хитрым, всегда ускользавшим от него крысам, он брал у коменданта поселка. Такие ружья с одним зарядом тот выдавал сторожам, обходившим длинными зимними ночами почти совершенно пустой поселок. Сторожа ходили шумно, чтобы не напороться ненароком на грабителей, регулярно потрошивших пустые зимой дома.

Еще в доме была „пистоля" – игрушечная, привезенная из ГДР, копия старинного пистолета. „Пистоля" стреляла пистонами, издавая звух хлопушки.

Бишка и Пегий боялись „пистоли" до оцепенения. И стоило кому-нибудь сказать грозно: „А где пистоля?" – как оба пса залезали под диван и там замирали.

Дыру, которую крысы прогрызли в углу кухни, забили жестянкой, натолкав туда предварительно стекла. Крысы прогрызли дыру в другом месте.

Травить их не решались. Боялись отравить Пегого и Бишку. Да и кот мог пострадать. Ведь был еще, кроме ворона Карлуши, кот, – довольно злой субъект с обрубленным хвостом. Сиамской породы.

Я помнил этот домик до перестройки, когда в нем еще доживала (летом, разумеется, зимой там жить было нельзя) мать Вилли, Любовь Васильевна. Не только в самой развалюхе, но и на участке воды не было. Надо было ходить к колодцу. Когда, свернув с проспекта Старых большевиков, вы шли по улице Куйбышева к номеру пятому, где жили Фишеры, то проходили мимо никогда не просыхавшей, окружавшей колодец лужи.

Потом подвели водопровод. Но не в дома, а к колонке на углу. Потом провели воду и в самый дом, к тому времени уже перестроенный. Это было после возвращения Вилли из Штатов. Затем установили в доме центральное отопление. Это делал инженер поселка Николай Константинович Гончаров, которого мой сын, когда еще был крошкой, прозвал почему-то „дядя Внучек".

Была, наконец оборудована внутренняя, так называемая теплая, уборная. До этого, как у большинства обитателей поселка „Старый большевик", у Фишеров в некотором отдалении от дома возвышался классический скворечник на яме. Когда яма напол-

нялась, ее чистили, а чаще засыпали землей и прелыми листьями. Скворечник переносили на новую яму. А содержимое засыпанной ямы превращалось со временем в ценное удобрение.

В принципе, с появлением домашнего сортира для Фишеров должна была наступить новая жизнь роскоши и неги на грани капиталистического Запада и полного коммунизма. Почти так оно и получилось, хотя сортир, разумеется потребовал, как любое техническое свершение, так называемой „доводки", то есть поправок и переделок.

Прежде всего, выгребная яма оказалась недостаточно емкой. Для одного сортира она была бы, вероятно, в самый раз. Но инженер поселка Гончаров рассчитал ее без учета находившихся на кухне умывальника и ванны.

В один субботний вечер семья Фишеров решила выкупаться. Нагрели целую колонку воды, да еще на печке с баллонным газом согрели несколько кастрюль и принялись поочередно мыться.

Одновременное купанье всей семьи состоялось всего один раз. Ибо, когда спустили воду, сточная яма переполнилась и пространство перед кухонным крыльцом залило жидким, покрытым мыльными пузырями дерьмом. Эмпирически пришли к оптимальному решению: надежнее всего ездить купаться в город. Или в баню в Мытищи.

Новая уборная имела еще одну особенность. Тонкая фанерная дверь не просто пропускала звук, а звучно резонировала. И еще была одна тонкость: вентиляция. Вопрос был решен техническим гением „полковника Абеля". В крохотное оконце, выходившее из уборной на крытое крыльцо, где держали всякое старье и картошку, он вмонтировал

электрический вентилятор, который, входя, следовало включать одновременно со светом. Вентилятор начинал жужжать, создавая нужный шумовой фон.

Было в сортире еще одно остроумное решение. Бачок для воды, естественно, не работал. Вернее, не работало устройство, закрывающее кран после наполнения бачка. Починить кран не было реальной возможности. Но легендарный Рудольф Абель, мастер на все руки (помните, в Бруклине он однажды починил лифт!), никогда не отступал перед трудностями. Чтобы не влезать каждый раз на стульчак открывать кран бака, он соорудил систему блоков и пропустил через нее веревочку. Потянув за веревочку, вы открывали кран; отпустив веревочку, вы его закрывали. Вода переставала поступать в бачок. Дабы держать кран в постоянном положении „закрыто", к концу бечевки был привязан противовес — тяжелый амбарный замок. Он висел на специальном гвозде. Входя, вы снимали замок с гвоздя. Под его тяжестью веревочка натягивалась, кран открывался, вода булькала, наполняя бак. Когда начинало капать вам на спину, вы знали, что бачок полон. Спустив воду, вы, уходя, вешали замок на гвоздик. Кран закрывался и воцарялась тишина.

В наступившей тишине я слышу замечание воображаемого критика: „Зачем столько о сортире?" — Затем лишь, чтобы показать быт человека, которого называют шпионом века, доблестным разведчиком, и о котором совсем недавно на Западе я читал, что по возвращении в Союз он получил звание Героя Советского Союза и открытый счет в банке!

Сортир — не конкретный, материальный сортир,

находившийся в доме у Фишеров, а сортир как таковой, Нужник (с большой буквы) занимал в разговорах Вилли и в его юморе, особенно застольном, изрядное место.

Нужник как тема для беззлобной шутки или тяжеловесного анекдота не принадлежит к традиции русского фольклора. Для того, чтобы подсмотренное в замочную скважину стало предметом осмеяния, необходима дверь, необходим замок, скважина, и необходимо элементарное представление о том, что прилично и что неприлично. Клозетный юмор, как и юмор скабрезный, может вырасти только на почве известного пуританизма и провинциальной чопорности.

Вилли с детских лет был верен классическим образцам клозетного юмора. Я думал, что это немецкая наследственность, но, побывав на его родине в городе Ньюкастл-на-Тайне, я в этом менее уверен. Именно там, в местном издательстве, я купил книжечку „Сортиры Джорди" (Джорди называют уроженцев тех мест), богато иллюстрированную.

„Ах, если бы провести газ!"

Давнишняя мечта! Избавиться, наконец, от баллонов, не добывать каждый год уголь для отопления дома!

Могущественное Главное Первое управление, разумеется, не пожелало помочь своему официальному герою: „Мы не можем вас рассекречивать своим вмешательством, Вильям Генрихович!"

А к Вильяму Генриховичу являлись депутации ребят из соседних школ: пионеры приглашали легендарного Абеля выступить у них в классе. В поселке Старых большевиков каждая собака знала,

кто такой Фишер! И не только там. Директор одного московского кинотеатра написал ему домой, приглашая выступить перед сеансом картины „Мертвый сезон", посвященной якобы истории Лонсдейля, где сам Вилли говорит вначале несколько вступительных слов.

А ведь записки, даже простого телефонного звонка в Мытищинский горсовет из Главного Первого управления с лихвой было бы достаточно, чтобы домик Вилли присоединили к газовой магистрали, проходившей в пятидесяти метрах!

Сколько любви, заботы было вложено в эту дачу! И денег!

Дача! Гнездо! Убежище на старости лет!

За домом на участке был кусок редкого соснового леса. Там на поляне играли в бадминтон и пили чай. А перед домом, со стороны улицы Куйбышева, было царство Эвелины. Кроме всех известных, но очень хороших, сортовых роз, лилий, тюльпанов, нарциссов, росли всякие чудеса и экзотические редкости.

Из больших и маленьких камней Эвелина устроила альпийскую горку, и на ней – редкие мхи, дикие колокольчики, даже эдельвейсы. И все названия Эвелина знала по-латыни и подавляла гостей эрудицией. А Вилли радовался, гордился дочкой.

Член какого-то общественного совета при Ботаническом саде, Эвелина доставала там редкие семена и саженцы. А из безумных своих поездок в горы Средней Азии или Алтая она притаскивала интересные растения и цветы. Вилли, несмотря на строгий таможенный запрет, привозил семена из заграничных поездок.

Привозили семена и мы. Сначала из Праги. А потом, когда вернулись в Москву, жена из командировок для московского телевидения тоже привозила. Однажды это была целая картонная коробка клубней редких сортов георгинов. Чудом уцелевший в центральной России немец-садовник подарил их ей, узнав, что цветы предназначены для немца, знаменитого советского шпиона!

Летом и осенью все это цвело и благоухало. В маленьком – метр на полтора – „озере" жили известные в лицо и по имени лягушки.

А зимой в занесенном снегом домике цвел другой сад. В глубоких нишах окон были устроены маленькие оранжереи с искусственным круглосуточным освещением, подогревом, увлажнителями, термометрами и прочими хитрыми устройствами. Цвели там редкие орхидеи, и какие-то странные белые цветы-крестики, похожие на восковые, плакали сладкими тягучими слезами.

20. СОУЧАСТИЕ

После 5 марта 1968 года, когда в Чехословакии отменили цензуру, почти все мои коллеги по редакции журнала „Проблемы мира и социализма" согласились, что теперь уже „наши" не стерпят, введут войска.

Кое-кто возражал: „Это будет политическое самоубийство! Все представители компартий уедут!" (Никто, конечно, не уехал.)

*

Телефон зазвонил в 4 утра. Голос сотрудницы, живущей рядом с редакцией:

– Вы радио слушаете?

– ?

– Наши танки вошли в город.

„Наши"!

Мы выскочили на балкон. В темном городе загорелись огни, сквозь открытые окна слышно, как надрываются телефоны. Издалека доносится глухое рокотание танков.

Включили приемник. Радио передавало призыв правительства:

„Соблюдайте спокойствие, сдержанность... сдержанность, спокойствие..."

До самой высылки в Москву будем жить, даже спать, не отрывая уха от „спидолы".

„Клид и розвага", – призывает Людвиг Свобода.

Сегодня, задним числом, легко иронически усмехаться: „Чего же ждали, на что надеялись? Может, вправду думали, что социализм бывает с человеческим лицом?"

Да, думали! Да, надеялись! Да, верили!

Ведь хочется верить в чудо. Хочется видеть победу не одних мерзавцев над другими, не одной демагогии над другой, а победу совести в сознании и сердцах людей, вчера творивших зло. Победу разума над безумием, правды над ложью. Пусть чудо, сказка – как поцелуй красавицы, превращающий клыкастое чудовище в прекрасного принца...

Недавно назначенный КПЧ ответственный секретарь редакции Павел Ауэрсберг, бывший личный

секретарь Новотного, рассказывал при мне, что при „хозяине" все участники заседаний Президиума, то есть Политбюро ЦК, заходили потом по одному к первому секретарю, чтобы с глазу на глаз получить конверт с суммой, строго соответствующей той оценке, которую Новотный давал поведению данного товарища на закончившемся собрании.

А ведь среди заходивших за конвертом бывал и Дубчек...

И вот этот вчерашний контрразведчик, преданный Москве партийный функционер, проводит в жизнь демократические реформы, ограничивающие его же власть; партийный экономист, академик Ота Шик разоблачает по телевидению марксистскую экономическую липу, новый начальник тайной полиции призывает население: „Не пишите доносов, мы не будем их читать!" Печать, радио, телевидение пишут, говорят и показывают такое, что западные журналисты только ахают: „Нам такое недоступно! О такой свободе мы можем только мечтать!"

Как тут не поверить, как не размечтаться?

И мечтать, возможно, острее и ярче, чем чехи. Сдерживая мой энтузиазм, мой пражский друг, чешский писатель говорил: „У нас ничего не выйдет. Мы народ коллаборантов. Мы не венгры. Мы — швейки".

Но в то страшное утро 21 августа 1968 года все-таки теплилась надежда. Надежда, что будет отдан приказ... Кто знал, что Людвиг Свобода уже все и всех продал. А тогда, я уверен, по одному его слову выступили бы армия, полиция, рабочая милиция — все чехи и словаки. И шестьсот тысяч человек генерала армии Павловского без единого выстрела ушли бы домой!

Утром жена, как всегда, пошла за газетами.

– Не плачьте, пани, – сказал ей старый киоскер, – я знаю, вы этого не хотели!..

*

В зале заседаний четвертого этажа, куда нас собрали в то утро сразу же по приезде на работу, перед советскими сотрудниками редакции выступил новый шеф-редактор Константин Иванович Зародов.

– Товарыщы! – сказал он.

Добрая советская традиция! При Сталине любой секретарь обкома – будь он русский, украинец, а то ненароком еврей – старался с трибуны говорить с грузинским акцентом. При Хрущеве стало принято импровизировать и сбиваться на мат. При Брежневе оратор должен говорить с той особой жлобской интонацией, которая выработалась годами партийной болтовни у крепко пьющих ерников.

– Товарыщы! – сказал Зародов. – Как мы узнали из недавно переданного сообщения ТАСС (а то ты, выглянув в окно или послушав чешское радио, не узнал бы!) – как мы узнали из сообщения ТАСС, товарыщы, войска стран-членов Варшавского договора пришли в Чехословакию по просьбе группы партийных и государственных деятелей этой страны.

(Боже! Какой стыд, какая мука!)

– Так вот, товарыщы, некоторые чехословацкие товарыщы будут, возможно, просить объяснить им происходящие события. Так вот, товарыщы, вы можете сказат чешским товарыщам, что войска эти находятся здесь как харанты их свободы и незави-

симости. Так и скажите, товарищи, — мы харанты. (Он говорил „г" по-украински, как „Сам".)

Как только он кончил говорить, мы с женой бросились на улицу, на свежий воздух. Только дышать все равно было нечем.

Объяснять чехам, что мы гаранты их свободы? Говорить, что мы не такие, что мы этого не хотели? А чем мы лучше? Пусть, наоборот, не делают различия. Пусть знают, кто их враг и поработитель! Пусть никогда не прощают!

Уж если кому что и объяснять, то разве что советским солдатам. Мы сделаем это лучше чехов!

Ответы:

— Странно вы все-шки рассуждаете, гражданин. Вот вроде по-русски хорошо говорите. Ведь не приди мы сюда — тут бы западные немцы уж враз были бы.

— А мы думали, на маневры пришли. Мне это разве надо? Вот эту шкуру уже месяц не снимаю!

— Не наш бригад, другой бригад американцы бой давал. Отойди, стрелять буду!

— А что я могу сделать, что я могу сделать, я-то что могу! Я младший лейтенант!

*

Константин Иванович Зародов зорко блюдет чистоту марксистско-ленинской теории и практики. Часто выступает на страницах „Правды" и других органов партийной печати. Он — гарант.

„Так и скажите чешским товарыщам — мы харанты, товарыщы!"

*

На пятый день оккупации, за неправильное отношение к этому жесту „братской помощи" и поведение, недостойное советских людей, нам с женой дали два часа на сборы и отправили домой.

Дорога, ведущая от Праги к аэропорту Рузине, была пустынна и охранялась так же, как и окрестности аэропорта, — венгерскими войсками. На территории самого аэродрома, с момента его захвата в ночь с 20-го на 21-е августа 1968 года, распоряжались советские парашютисты.

За отправкой наблюдали двое сотрудников редакции, не отходившие от нас с того самого момента, как мы получили приказ об отъезде, и следившие, чтобы мы никуда не звонили по телефону, а также два товарища рангом повыше: главный редактор бюллетеня журнала „Проблемы мира и социализма" Кандалов и племянник заведующего международным отделом ЦК КПСС Бориса Пономарева, автор многочисленных брошюр по вопросу сионизма, патологический антисемит Евгений Евсеев, по кличке Таракан (за рыжие усы).

Но сейчас Таракан не шевелил усами. Это был торжественный момент для него. Он угадал! Он знал заранее!

В темном костюме, в черных очках, он неподвижно стоял в стороне и наблюдал. Он очень походил на Эйхмана, отправляющего очередной эшелон евреев.

„Мы уедем из этой проклятой страны!"

В конце 1944 года, когда порвались мои связи с

разведкой, одна из дверей, ведущих на Запад, для меня закрылась. И хорошо, что закрылась.

„Мы уедем, мы непременно уедем из этой проклятой страны!"

... Самолет внешне выглядел, как обычный рейсовый самолет Аэрофлота. Но внутри он был оборудован как транспортный военный. Нас было в этом рейсе Прага–Москва (с посадкой в Варшаве) десять пассажиров: мы с женой, еще одна пара из редакции, которую отсылали в Москву за аналогичные грехи, один сотрудник, попавший на этот рейс случайно, и семья какого-то польского дипломата – муж, жена и трое детей. Около нас навален наш багаж: чемоданы, мешки, сшитые впопыхах из пледов, свертки.

Мы почти не разговаривали в полете. Сидели, держась за руки.

„Клянусь, мы уедем из этой проклятой страны".

У меня не было ни малейшего представления, как мы выберемся из Советского Союза. Но отъезд стал жизненной необходимостью.

Оставаться означало быть соучастником.

После Праги я понял, что даже будучи простым переводчиком, но высоко ценимым и высоко оплачиваемым, я – соучастник.

Быть им я больше не хотел.

*

Высланные из Праги – мы сразу пришли к Фишерам. Вилли кубарем скатился со второго этажа, где у него была оборудована рабочая комната. Вся семья скучковалась вокруг нас, охая, суетясь, при-

читая: „Слава Богу, пронесло. Мы боялись, что вы там наломаете дров! Ведь Ирка с ее языком..."

Это, разумеется, сказала Елена Степановна, грозя пальцем, поучая и наставляя. Она вообще считала, что раз ввели войска, значит так и нужно было. Эвуня развивала какую-то не вполне ей самой понятную теорию, сочетавшую уважение принципов гуманизма, абсолютных истин и наших с женой убеждений. К тому же, с оглядкой на „папку". „Папка" бурчал что-то насчет ненужности таких жестких и компрометирующих страну мер, как ввод войск. Они с Кононом, оказывается, все давно придумали, как надо было действовать, не прибегая к силе.

Потом мы остались с ним вдвоем у него в рабочей комнатке, заваленной книгами, холстами, подрамниками, всякой художнической всячиной, с армейским радиоприемником и передатчиком на чертежной доске, служившей ему столом.

— А для чего вообще надо было все это душить? — спросил я.

— Совсем сошли с ума! — сказал он со вздохом.

„Я нахожу разумным верование кельтов, — писал Пруст, — что души усопших заключены в оболочку какого-нибудь низшего существа — зверя, растения, неодушевленного предмета..."

... Я никогда не расстаюсь с патроном, подобранным в жаркий августовский день 1968 года, в Праге, на углу Семинарской улицы и площади Примatора Вацки.

Был второй или третий день оккупации. Опьяненную небывалой свободой страну сунули головой в вонючий мешок, душили. Мы с женой ощутили

тогда приход братьев-освободителей как удавку на собственной шее, как наручники на собственных запястьях, как кляп в глотке. Держась за руки, мы метались по городу, подчас смутно видя, куда идем, натыкаясь на бронетранспортеры и танки, перегородившие улицы и мосты. Мы что-то пытались говорить солдатам, принимавшим нас, вероятно, за провокаторов: не могли же им говорить *такое* советские люди. А ведь мы были тогда гражданами Союза Советских Социалистических Республик.

Там, где Семинарская улица, изогнувшись дугою вдоль глухого заднего фасада Клементинума (обширный ансамбль, целый квартал, состоящий из бывшего монастыря, двух садов, трех храмов и четырех библиотек), переходит в площадь Приматора Вацки, в конце улицы стоял пулемет. Возле него были почему-то рассыпаны патроны. Никого не было. Я поднял патрон и положил в карман. Солдат, болтавший с какой-то чешской парочкой из тех, кто приветствовал нашествие, окликнул нас. Мы продолжали идти не оборачиваясь, не ускоряя и не замедляя шаг. Пусть выстрелит в спину, пусть убьет, пусть на улице Праги советский солдат застрелит хоть одного гражданина своей страны. Как мы ненавидели эту заискивающую чешскую пару...

Подобранный в Праге патрон вскоре улетел со мной в Москву, и с тех пор я не расстаюсь с ним никогда. Его вид, прикосновение к нему возвращают меня в Прагу, на пустынную площадь Приматора Вацки. Я снова ощущаю душный августовский зной и гнетущее чувство отчаяния и позора соучастия в убийстве. И путь, избранный тогда в Праге, мне ясен.

А в Союзе за стеной всеобщего неведения и непо-

нимания идет процесс грозного для всего мира нравственного распада.

Неведение и непонимание — в самодовольно-покровительственной доверчивости Запада.

Неведение и непонимание — в остановившихся, стеклянных глазах на все готового и на все способного советского солдата на августовских улицах Праги...

... Я сажусь к микрофону и жду, когда загорится сигнальная лампочка.

Август. Жара. Танк. Прага. Отчаяние. И бездна неведения в тускло-серых глазах солдата.

У микрофона радиостанции „Свобода" я продолжаю начатый в Праге разговор.

21. „ПАПКУ ВЫГНАЛИ!"

Верблюд был величав, красив и бур, как пустыня Монголии. На базаре в Улан-Баторе за него просили на советские деньги около пяти тысяч рублей: стоимость машины „москвич".

Стаи сытых и непуганных собак бродили по улицам столицы. Не тех, вероятно, которым когда-то выдавали на съедение покойников. А впрочем...

Иногда, огибая конный памятник Сухэ Батору, по пустынной и огромной, как степь, центральной площади проезжал в блеске синих мигалок и завывании сирен кортеж из пяти машин: правительственный „зил", две „чайки" с охраной, две милицейских „волги". Хозяин страны, товарищ Цеденбал, ехал через площадь из своей резиденции в здание, где находились ЦК партии, Правительство, Великий Хурал и вообще все на свете.

Там же в главном зале заседаний проходил юбилейный съезд монгольских профсоюзов. Для большей значимости пригласили делегации из дальних стран. Из Москвы привезли синхронных переводчиков. Переводимые на русский язык монгольские выступления мы с милейшим Александром Александровичем Тарасевичем переводили синхронно на французский язык. Буфет, если не ошибаюсь, открывался в десять. К одиннадцати утра языки монгольско-русских переводчиков деревенели от водки. Тогда поневоле замолкали и мы.

Из окна нашего с Тарасевичем номера гостиницы виднелся задний двор оперного театра, часть центральной площади, дальние горы и окруженный забором, казавшийся бескрайним квартал юрт. Забор означал урбанизацию столицы Монголии: юрты было запрещено фотографировать!

Вечерами, дождавшись, чтобы в Москве настало утро, я звонил домой.

В Москве умирал Вилли.

Рак легких, метастазы в позвоночник. Его уже поместили в отдельную палату, где с ним находились жена и дочь.

Пять-шесть раз в день ему делали уколы морфия. В соседней палате круглые сутки дежурило четверо сотрудников Главного Первого управления. Иногда наезжал кто-нибудь из начальства. Еще жив? Ничего не говорил? Уезжал.

*

Перед самым моим отъездом в Монголию нам позвонила дочь Вилли Эвелина.

– Приезжайте! Папку выгнали с работы.

Мы с женой помчались в Челюскинскую.

Оказалось: собираясь в отпуск, Вилли зашел накануне в отдел кадров.

– Зачем же в отпуск, Вильям Генрихович, – сказала ему с улыбкой сотрудница отдела. – Мы оформляем ваш уход на пенсию. Вот уйдете – тогда и отдыхайте всласть.

Так Вильям Генрихович Фишер, легендарный „полковник Абель" узнал от секретарши, что его работа в советской разведке закончилась. Никто из непосредственного начальства ему, разумеется, ни слова об этом заранее не сказал. Зачем зря волновать человека?

Шестьдесят восемь лет вполне, конечно, пенсионный возраст. Не говоря о стаже. Если сосчитать по особому зачету фронтовые, заграничные и годы, проведенные в американской тюрьме, стаж Вилли Фишера почти сравнивался с его возрастом, так что при желании можно было считать выход на пенсию заслуженным отдыхом. Но Вилли ощутил увольнение как незаслуженную обиду. Он надеялся, что особенность выполненной им в Америке миссии обеспечит и особое к нему отношение дома.

„Выгнали папку!"

Да, работы у Вилли в последнее время было мало. Он разъезжал по Союзу с докладами, выступая в главных школах КГБ, в областных управлениях. Привозил из поездок подарки (вроде вырезанных Джеральдом Бруком шахмат, топориков с инкрустациями, всякую чепуху). В общем, снимал плоды закатного периода карьеры „полковника Абеля".

Именно в те годы его встретил на улице сподвижник академика Шмидта, знаменитый полярник-

радист Эрнст Кренкель, приятель Вилли по службе в армии (там с ними служил еще народный артист СССР Михаил Царев). Кренкель писал в журнале „Новый мир":

„Встретились мы в 1965 году, через сорок лет после того, как отслужили в отдельном радиотелеграфном батальоне. Свел нас случай. Однажды я шел с Кузнецкого моста на улицу Кирова и, проходя по Фуркасовскому переулку мимо здания Комитета государственной безопасности, увидел удивительно знакомого человека. На нем была модная шляпа с маленькими полями и зарубежный макинтош. Узнали мы друг друга сразу же, с первого взгляда.

– Здорово!

– Здорово, Эрнст!

– Ну, как дела?

Задал я этот традиционный вопрос, и даже как-то не по себе стало – идиотский вопрос! Сорок лет не видать друг друга и спросить, как дела! Это надо уметь!

– Ты что, на пенсии?

– Нет, работаю.

– А что ты делаешь? Где работаешь?

Мой друг показал большим пальцем через плечо на здание КГБ и сказал:

– Здесь работаю!

– Как же тебя занесло сюда?

– А я здесь работаю музейным экспонатом".

Экспонатом Вилли надеялся проработать до конца жизни. Неосторожно выбранный в молодости путь не принес ему счастья, но – думалось ему – хоть в роли „полковника Абеля" дадут пожить.

„Экспонат" Абель, не занимая высокого положе-

ния, пользовался некоторыми внешними проявлениями почтения и внимания, которыми полковника Вильяма Генриховича Фишера никто баловать не собирался.

Ведь карьеры он так и не сделал. Причин тому много.

Как в любом государственном учреждении – а в Советском Союзе все учреждения государственные – в КГБ до руководящих должностей редко дослуживаются. Большие начальники приходят, чаще всего, со стороны – из ЦК партии или комсомола. Теперь предпочтение отдается детям партийных боссов. Нелегалу же подняться до высших должностей особенно трудно.

Если учесть исключительные данные Вилли – знание языков, осведомленность в области техники и точных наук, блестящее знание фотографии и прочие умения, – карьеру его можно считать (возможно, именно из-за этого) исключительно неудачной. Ведь он же не был иностранным коммунистом или перебежчиком, которому не будут верить никогда. Он был сыном Генриха Фишера, старого большевика, „лично знавшего Ленина". И сам Вилли достаточно проработал в центральном аппарате в Москве, чтобы иметь право претендовать на нечто большее, чем должность „заместителя начальника отдела" и „экспоната".

Хотя эта полуработа имела приятные черты. С того момента, как из него решили сделать героя, он вне узкого круга начальников, немного третировавших его, пользовался проявлениями внимания. Он ездил не только по стране, но и в соцстраны. На моей памяти выезжал в Чехословакию, в Венгрию, два раза в ГДР.

В Венгрии он не только выступал перед офицерами разведки, но встречался с избранной агентурой. С восторгом рассказывал мне о своей беседе на конспиративной даче с каким-то высоким церковным чином.

Любимые его поездки были в ГДР, где его особенно охотно принимали. Во-первых, он хорошо знал Вольфа и Мильке, руководителей восточногерманской разведки. Вольфа он знал чуть не мальчиком. А в Восточном Берлине он был нужен как человек, отлично знающий Соединенные Штаты, один из главных объектов проникновения – через ФРГ – разведки ГДР.

После поездок ворчал: „Все хотят обратить в инструкцию! Каждую деталь просят повторить и записывают. Голову надо иметь на плечах! Хвастаются, будто они в Западной Германии как у себя дома. Западные немцы у них тоже, небось, делают, что хотят. Да и американцы!"

(Ворчал, но как он ценил эти поездки!)

Когда, после возвращения Вилли из Америки, его решили извлечь из нафталина и превратить в „доблестного советского разведчика", начали распространять („из хорошо осведомленных источников") слухи: „Абелю присвоено звание Героя Советского Союза! У Абеля открытый счет в банке! У Абеля роскошная квартира в высотном доме на Котельнической, нет, на Фрунзенской набережной!" Ему приписывали все, что должно поразить воображение зачуханного советского обывателя.

*

Летом 70-го года мы снимали дачу в Челюскин-

ской – рядом с Фишерами, на противоположной стороне улицы Куйбышева.

Утром Эвелина прибежала сообщить нам о внезапной смерти „Бена" – так они называли Конона Молодого, с которым Вилли дружил.

Бен поехал в выходной день на машине за город по грибы. Приехали куда-то в лес, поставили палатку, выпили, пошли собирать грибы. Вернулись. Пока жарили грибы, снова выпили. С грибами выпили уже много. Потом еще.

Когда Бена хватил удар, его спутники (жена в том числе) не сразу протрезвели, и не могли сообразить, что делать. Пока сообразили, привезли в город – он умер.

Фишеров эта смерть потрясла. Бен вогнал себя в гроб почти намеренно, методически разрушая организм алкоголем. Причина была одна: отчаяние от собственной ненужности, понимание, что выхода нет, что все, что было в жизни интересного, – позади. А впереди – ничтожное существование.

В качестве „экспоната"?

Вилли очень смущало, что известие о смерти Гордона Лонсдейля было в тот же вечер передано западными радиостанциями. Обидно, но я был ни при чем.

А Рамону Меркадеру, убийце Троцкого, звание Героя присвоили. Он жил с чехословацким паспортом в Москве под фамилией Лопес. У Вилли же, хотя и было немало орденов, но все – за выслугу лет.

Источник маленьких радостей был – поездки „экспоната". То привезет из Одессы несколько банок растворимого кофе, то кубинские слушатели спецшколы преподнесут шикарный ларец с сигарами (Вилли их не курил, но перед гостями величал-

ся). А из поездки в ГДР можно было вернуться с электрическим тостером, кофеваркой, набором кухонных ножей, дюжиной бутылок „Либфрауенмильх", инструментов для мастерской, которую Вилли оборудовал себе на даче.

Выгнали!

На кухне, прижимаясь спиной к радиатору, Вилли поеживался, много курил. Почему он курил отвратительный „Беломор"? Он называл эти папиросы „гробовые гвозди".

Перед обменом на Пауэрса, закуривая в последний раз в Берлине американскую сигарету, он сказал: „Вот чего мне будет там не хватать". В Москве он мог бы, при желании, достать себе американские сигареты. Но он курил „Беломор" – наверное, привычка курить то же, что курят все, не выделяться. Как будто в советской толпе он мог не выделяться!

Мы говорили о возможности для него подрабатывать переводами.

– Времени у меня теперь будет много. Надо только подправить здоровье. Хочу лечь на обследование к Блохину, в Институт онкологии.

Я похолодел!

– Почему именно туда, Вилли?

– Там есть знакомый хирург. В нашем комитетском госпитале... Вы сами видели... главврач будет приставать, чтобы я для больных выступал с докладами.

Если память не изменяет, Вилли лег в больницу 25 октября 1971 года. Перед тем, как вылететь в Улан-Батор, я 26-го зашел к нему проститься. Мы вышли из палаты, где он лежал с тремя другими

больными, бродили по коридору. Разговор был все тот же: о переводах, об устройстве Эвелины на более выгодную работу...

Я больше его не видел.

— Привези мне вкусненького, малыш, — сказал он как-то моей жене.

Ира достала на Центральном рынке, сварила и привезла в кастрюле цветную капусту, которую Вилли очень любил.

Он уже не мог есть. И говорить не мог. Не стонал. Но сознание и воля сохранились до конца. Он все слышал и понимал.

Вокруг него суетилась Елена Степановна. То ли от горя, то ли от глупости, то ли от инстинкта „партийности", который срабатывает и в минуту смятения, порола она чушь несусветную:

— Это американцы заразили его раком! Вот будет вскрытие, мы докажем!..

Вилли, в полном сознании, раздираемый адской болью, слушал.

Перед самым концом сделал знак дочери склониться к нему, взял ее за руку, слабо пожал, шепнул: — Не забывай, что мы немцы...

Свою ли он прожил жизнь?

22. ПАМЯТНЫЕ ПОМИНКИ

— Мы не представляем себе этого дня без вас! Вилюша вас так любил!

Елена Степановна Фишер позвонила нам 13 ноября 1972 года, настаивая на том, чтобы 15-го, в годовщину смерти Вилли мы пришли на кладбище

Донского монастыря, на открытие нового надгробия с обоими именами – Фишера и Абеля. А после этого – к ним домой, на поминальный ужин.

– Я не хочу встречать людей из Виллиной конторы. Мы лучше приедем к вам на следующий день.

– Будут только самые близкие друзья. Из конторы, как вы говорите, только Питер и Лона. К тому же Ирка обещала привезти капусту и горошек!..

Черт меня дернул!

Уже на кладбище мне не понравились люди, стоящие вокруг Виллиной могилы. Елену Степановну и Эвелину сопровождал Пермогоров, бывший сотрудник московского радио, долго работавший в США под своим именем, – не то корреспондентом, не то, под прикрытием советской миссии, в ООН.

Еще было не поздно вернуться домой и никуда не ездить. Но как же с капустой и горошком? Ведь обещали!

Взяли такси, заехали домой и отправились на дачу к Фишерам в Челюскинскую.

Подъезжая, увидели: в соседнем переулке, выходившем на проспект Старых большевиков, стояли черные „волги" с дремлющими шоферами.

Еще было не поздно, не отпуская такси, ехать обратно. Отпустили. Идти на вокзал и возвращаться электричкой? Мы поплелись по улице Куйбышева к дому пять!

И когда вечно ворчащая, добрейшая старуха-домработница тетя Феня приняла продукты и помогла нам в передней снять пальто и мы вошли в столовую, где были накрыты столы и сидели гости, я понял, что лучше было поссориться, сломать ногу, заболеть, – но не приходить!

– Мы пропали, – шепнул я жене.

Гости сидели по рангу.

На дальнем конце большого стола напротив хозяйки – генерал. Я лишь позже узнал от Эвелины, что это был начальник Главного Первого управления генерал-майор Анатолий Иванович Лазарев. В тот момент я только понял: генерал!

Если вам приходилось видеть советского генерала за границей или на приеме среди иностранцев – это не в счет. Советского генерала или сановника равного с ним ранга нужно наблюдать в окружении соотечественников. Самое лучшее – среди сослуживцев или подчиненных.

Конечно, современный генерал – вовсе не обязательно долдон с остекляневшими от водки и бездумья склеротическими глазами, говорящий громко и всех перебивающий. Отнюдь нет. Если он принадлежит к поколению более молодому, чем маршал Советского Союза Леонид Ильич Брежнев, он может даже выглядеть пристойно и правильно говорить по-русски. Особенно, если он – генерал ГБ. Генеральство – в снисходительной вежливости, в подаваемых двух пальцах, в полуобороте при разговоре.

Лазарев подолгу жил за границей, где обтесался. Но его выдавал юливший вокруг все тот же Пермогоров: заискивал, хихикал, все время старался что-то подать, поднести, угодить. И Лазарев с ним вел себя соответствующе. Вилли называл Пермогорова по-английски – „браун ноз" (жополиз).

Справа от Лазарева сидел какой-то его заместитель, фамилию которого я так и не узнал. Слева – другой заместитель, Дроздов, резко выделявшийся своей очень западной, я бы сказал английской, внешностью.

Были, правда, и „старые друзья". Кроме неизбеж-

ных Коэнов, так называемых Питера и Лоны, еще сослуживцы Вилли по радиобатальону, какие-то непонятные люди.

Дело было плохо.

Зачем нас позвали? Зачем было говорить, что будут только близкие друзья? Ведь генерал Лазарев не зашел просто так, на огонек!

(О Лазареве пишет в своих воспоминаниях бывший офицер франкистской разведки Луис Гонсалес-Мата. Именно с ним, с Анатолием Ивановичем, в конце шестидесятых годов, производил он обмен: русские получали планы американских военно-воздушных и военно-морских баз (например, базы атомных подводных лодок!) в Испании, а платили подробными справками: биографии, фотографии, адреса, партийные клички и явки трехсот пятидесяти неугодных Москве антифашистов-подпольщиков, еще не выявленных испанской полицией. Испанцы, конечно, хороши. Но и Москва выглядит красиво!)

Меня посадили между Дроздовым и Пермогоровым. Теперь уже я напрасно пытаюсь вспомнить их имена-отчества. Но помню, что они — тезки, и я загадал: пусть пронесет! Ведь, если сидишь между тезками и загадаешь — должно исполниться желание! Дай, Господи, чтобы пронесло!

Но что-то не проносило. С бокалом в руке поднялась Елена Степановна:

— Сегодня за этим столом собрались самые близкие друзья Вилли. Мы собрались почтить его память. — Все примолкли. Елена Степановна продолжала: — Я хочу попросить всех вас рассказать по очереди о своей первой встрече с Вилюшей.

Ей-Богу, я тогда не понял, что все это подстро-

ено, что меня затащили в западню. Я был уверен, что это просто глупость. А может, так оно и было?

Сначала что-то плел какой-то сослуживец Вилли по радиотелеграфному батальону. Потом на чудовищном русском языке Морис Коэн рассказал историю, как в Нью-Йорке на Рождество Вилли пришел к ним и принес жареного гуся.

Сидевший направо от Лазарева заместитель выразил сожаление, что познакомился с Вилли лишь перед самой его смертью.

Лазарев говорил довольно долго и гладко. Из его слов нельзя было понять ничего. Его спич мог быть произнесен на открытии ясель, на чествовании хоккейной команды, на прощании с отъезжающей труппой акробатов. Это был типичный советский набор слов, всегда и везде пригодных.

Сидевший справа от меня Дроздов сказал нечто, что я понял лишь впоследствии с помощью Эвелины. Он говорил, что хорошо знал Вилли задолго до того, как встретился с ним. Потом я узнал, что он занимался, в частности, обменом Фишера на Пауэрса и в переговорах с защитником Вилли Донованом играл роль двоюродного брата Абелей — Дривса. Дроздов в совершенстве говорит по-немецки.

Настал мой черед.

Я хотел сократить до минимума мучительную затею.

— Утверждают, — сказал я, — что нет бездарных учеников, а есть бездарные учителя. Мы с Вилли общими усилиями доказали обратное. Все его старания разбились о мою бездарность, что позволило избежать ошибки и я не стал применять на практике премудрость, которую он мне преподавал. От этого

выиграли все. И он, и я, и работа, к которой он меня пытался приготовить.

„Господи, только чтобы пронесло!" – думал я, садясь.

*

Когда высылка из Праги закрыла перед нами дверь – постепенного завоевания доверия, выслуживания, поездок за границу, одна из которых должна была стать последней, я все же повторял: „Мы уедем!"

Примерно за два с половиной месяца до злосчастных поминок у Фишеров мы с женой подали бумаги с просьбой разрешить нам выехать в Израиль. Фишеры о нашем решении не знали. О решении, вернее, о желании, знал Вилли. Но его теперь не было в живых. Документы мы подали после его смерти.

На следующий день после поминального ужина у Фишеров, то есть 16 ноября, в наш почтовый ящик гулко упала открытка. Нам предлагалось прийти в ОВИР. Разрешили!

Как во сне, пошли дни получения визы, покупки билетов, тысяч дел...

Срок визы истекал 4 декабря. В этот день мы должны были вылететь в Вену.

Квартира опустела от последних вещей и книг, с утра до поздней ночи толпились друзья – провожали, прощались навсегда.

Навсегда. И оказывалось, что как ни рвался из этой проклятой страны, а уезжать из нее, прожив тридцать лет (а жена моя – всю жизнь) – и сердце рвет на куски. Не было в эти дни ни одной минуты

чистой радости. Механически, в состоянии какого-то оцепенения, я выполнял все необходимые формальности: платил за выход из гражданства, покупал билеты, отправлял вещи...

У меня по сей день хранится сделанная в Лондоне магнитофонная запись телефонного разговора Грэвилла Джанера со мной после того, как в пятницу 2 декабря, за два дня до отъезда, мне позвонила инспектор ОВИРа Кошелева.

Она велела зайти в ОВИР в субботу утром, имея при себе визы.

У меня перехватило дыхание. Кошелева быстро добавила:

— Без эксцессов, все погранпосты предупреждены.

О, абсурд сентиментальных сожалений о России! Надо было услышать эти слова, чтобы понять — что значит возможность вырваться отсюда!

Несколько друзей не отходили от меня ни на шаг.

Ночью впервые наш черный чау Миня вскочил на кровать — вернее, оставшийся от нее матрас на четырех кирпичах (вся мебель была продана или роздана), лег между нами, стал лизать руки. Два дня, как и мы, он не подходил к еде.

— Кто аннулировал визы, в какие инстанции я должен жаловаться?

— Вы сами должны знать, — ответила Кошелева, по кличке Эльза Кох. — В те инстанции, от которых зависит это решение.

Откуда нанесен удар, мне было ясно. Не было сомнений и в том, что злосчастный поминальный ужин — главная всему причина. Лазарев распорядился. Но я упорно делал вид, что не понимаю.

Формально визы выдаются Министерством внутренних дел. И я писал министру Щелокову.

Министр подчинен председателю Совета министров. И я писал Косыгину.

Все они подчинены главе государства и Генеральному секретарю партии. И я писал Подгорному и Брежневу.

Но я не писал Андропову, не желая завязывать диалог, который мне пытались навязать.

Теперь мне было ясно, что приглашение на кладбище и на ужин не было случайностью. Когда я через несколько дней приехал к Фишерам, то ни Елена Степановна, ни Эвелина не были удивлены тем, что случилось. А ведь они как будто даже не знали о нашем решении уехать.

А через несколько дней позвонила Эвелина и сказала, что у нее такое чувство, даже уверенность, что если я приму обратно советский паспорт, то все пойдет так, как раньше.

— Почему вы так в этом уверены?

— Так думают папкины друзья.

Ценное указание!

Значит, прежде всего — ни за что не брать обратно советский паспорт.

Это был первый шаг.

А дальше я пошел по пути, который мне когда-то подсказал Вилли для ухода из разведки: делать себя невыносимым. Только в других обстоятельствах. Создать положение, при котором властям, то есть КГБ, придется в какой-то момент решать, что же со мной делать: уничтожать или избавляться от моего присутствия.

Прошел год. Я не упускал ни одной возможности сделать свое присутствие в СССР нежелатель-

ным, по мере сил увеличивая в то же время число людей, которые подняли бы шум на Западе в случае моего ареста. Я спешил, зная, что мне отпущено немного времени. Я боялся попасть в категорию тех, кто делает то же самое годами и все еще ждет разрешения уехать.

23. „В БОРЬБЕ ОБРЕТЕШЬ ТЫ ПРАВО СВОЕ"

Не позвони мне 2 декабря 1972 года инспектор ОВИРа Маргарита Ивановна Кошелева, улетел бы я два дня спустя в Вену, оттуда, вероятно, в Рим, и виза в Израиль могла остаться простой формальностью, способом уехать из России.

Я не прожил бы увлекательных одиннадцать месяцев, поначалу страшных, а потом замечательных.

В России я журналистику бросил вскоре после войны из брезгливости. И хотя, работая на радио, был членом Союза журналистов, принципиально зарабатывал на жизнь только переводами. Снова писать я начал только, когда у меня отобрали визу. Тут я ухватился за единственное грозное для советской власти оружие: гласность!

Кричать!

Кричать обо всем, что делают с нами, обо всем, что творится вокруг нас. О беззакониях и произволе. Пусть нашим дорогим советским властям нужно будет что ни день, что ни час хотя бы крутиться, что-то объяснять, в чем-то оправдываться, от чего-то откупаться.

Да и у западных партнеров пусть не будет отговорки: мы не знали!

Пусть знают не только о глобальных проблемах, но и о мелочах. Не только о ГУЛаге и кровавом палачестве, а еще и о хамстве, о мелком жульничестве, о том, как плутует советская власть: на обмене денег, на краже посылок, на всем!

Пусть знают, что наряду с грандиозным политическим обманом идет еще и ежеминутное объегоривание.

И еще мне тогда казалось, – недолго, правда, – что нуждающийся в Западе, в его хлебе и технологии Советский Союз будет чутко прислушиваться к мнению тех, на ком он паразитирует.

Верил я также, что стоит Западу достоверно узнать обо всем, что творится в России, – и он содрогнется от возмущения. И тогда наши руководители начнут юлить и замаливать грехи.

Со временем я сумел оценить железную выдержку Запада, выдержку, которая позволяет ему ни перед чем не содрогаться, и наступил также момент, когда не вполне уже было ясно: то ли Россия нуждается в западном хлебе и технике, то ли Запад не знает, на что пойти и в какую позу стать, лишь бы сбыть свое добро СССР. Но все же остался и остаюсь при твердом убеждении: необходимо кричать!

И мы вопили!

Не всякий крик, однако, доходит. Техника спасительного и действенного крика отрабатывалась на практике. Евреи-отказники кричали и раньше, до меня. Уже был контакт с иностранными журналистами, даже пресс-конференции (так назывались встречи, куда приходило сразу много народу).

Об одной из таких встреч, протекавшей в доме на Яузском бульваре, мне рассказал мой американский друг.

Организаторы толпились в одном конце большой комнаты и спорили, что и как говорить приглашенным корреспондентам. Час назначили неточно, и все пришли в разное время. Было зачитано несколько писем и заявлений, но перевода не было.

Постепенно нам удалось внести больший порядок. Четкое и по возможности краткое вводное заявление я переводил заранее на английский. Текст размножался и сразу всем вручался на тот случай, если ГБ накроет нас до того, как мы успеем что-то рассказать. О времени встречи устно, на улице сообщали одному инкорру. Он таким же образом передавал другим.

Люди приходили разными маршрутами, врозь, но в одно и то же время. Наших гостей старались чем-нибудь угостить или хотя бы напоить чаем. После чтения заявления задавались вопросы. На них обычно отвечал я.

Постепенно журналисты узнали адрес: Котельническая набережная, дом 1/15, корпус „В", подъезд 6, второй этаж, квартира 78. И телефон, пока мне его не отключили: 227-47-89.

Иногда приходили и не журналисты.

По субботам мы шли на улицу Архипова, где у синагоги обычно бывали приезжие евреи из Америки, Англии, Франции... Оттуда мы часто приводили их к нам домой. Благо близко – по Солянке и через мост.

*

„20 апреля семеро американских студентов в здании московского ОВИРа разбросали листовки с призывом: „Отпусти народ мой!" Милиция вывела де-

монстрантов на улицу, после чего они уселись на тротуаре и распевали еврейские песни. Вскоре они были доставлены в отделение милиции, а затем, после вмешательства американского посольства, освобождены. Сообщают, что московские еврейские активисты приветствовали демонстрантов". („Хроника защиты прав в СССР", выпуск 2, апрель-май 1973 года.)

Мы узнали об этом по радио. Решили, что ребят, наверно, сразу выслали. А что, если вдруг... Бросились на улицу Архипова. Два замерзших парня в „кипелех" – совсем мальчики – топтались на ступенях синагоги. Пятеро (из них одна девушка) уже ушли. Эти два остались, ждали, когда к ним подойдут. Один высокий, с длинными льняными волосами, другой черноволосый, чуть покруглей. Они ждали уже долго.

Вокруг Йосси Клайна и Джюльса Левенталя в нашей большой пустой квартире набилось столько народа, что не то что сесть, двигаться было почти невозможно. Йосси и Джюльс пили чай с сухарями. С приезда ничего другого в рот не брали, соблюдали „кошер". И говорили. До хрипоты.

Оба изучали юдаику в Нью-Йорке, оба были раньше членами Лиги защиты евреев, возглавляемой Меиром Кахане. И ушли, считая Кахане недостаточно серьезным человеком.

Чтобы приехать в Москву во время пасхальных каникул, собрали по мелочи деньги у друзей и знакомых.

У них был план ОВИРа, и они сразу, не колеблясь, ворвались в комнату 21, где принимают заявления о выезде, развернули плакаты и начали выкрикивать лозунги. Затем, уже в общем зале, держась за

руки, сели на пол в кружок и начали петь еврейские песни. Ворвавшаяся милиция сначала выгнала на улицу всех посетителей. Потом вытолкала и выволокла демонстрантов на улицу. Там подоспевшие граждане с портфелями (а в портфелях, как полагается, кирпичи) начали их этими портфелями бить. И кричать им „жиды!"

„Нам еще в Нью-Йорке объяснили, что значит это слово. И когда мы его услышали, то поняли: все идет нормально".

Эти бесстрашные дети сразили нас вопросом:

— Что мы можем еще для вас сделать?

Нашлось что! Накануне звонил один наш друг из США: „Срочно пишите руководителям еврейских общин Америки. Никсон давит на них, чтобы они публично осудили поправку Джексона. На днях евреи должны быть у президента и дать ответ. Никсон грозит, а руководители еврейского „эстеблишмента" колеблются. Они боятся, что их отказ может вызвать сокращение помощи Израилю. Обычный шантаж. Но они готовы уступить!"

Письмо уже было написано, под ним собрано более ста подписей. Там были примерно такие слова (цитирую по памяти):

„История еврейства знает примеры, когда иллюзорные, преходящие выгоды покупались ценой крови и слез еврейского народа. Не дайте себя обмануть. Помните: история не простит вам нашей судьбы".

— Вот если бы можно было провезти это письмо в Штаты...

Английский текст письма был тотчас разрезан по фразам, а Йосси и Джюльс переписали их ивритскими буквами на крохотных клочках бумаги.

Затем они попросили у нас скотч и ушли в ванную комнату прятать наше послание каким-то хитрым способом.

А люди тем временем приходили, и каждый, входя, спрашивал:

– Вы видели, что у вас творится во дворе?

Творилось! У подъезда черная „волга" с огромной антенной, топтуны повсюду, а прямо в подъезде какой-то тип в заграничном пальто выскакивал из-за лифта, пыхал навстречу входящим „блитцем" и говорил: „сэнкью!", изображая, очевидно, иностранного фоторепортера. Из соседнего подъезда тоже выскакивали двое с блитцами. Но те „сэнкью" не говорили. А на лестнице, выше нашего этажа двое в ратиновых пальто наблюдали за входящими в нашу квартиру. Шептали себе в рукав. Техника, прогресс!

Вечером, когда мы пошли провожать Йосси и Джюльса, тот, с блитцем, пятясь, шел перед нами, улыбался, фотографировал и говорил „сэнкью".

А вслед за такси, увозившим наших друзей, сразу рванули две машины. И пошли – одна, обгоняя, другая – на хвосте...

Уже на следующий день услыхали по радио через вой глушилки:

„По приезде в Вену американские студенты, проведшие демонстрацию в московском ОВИРе, заявили, что везут очень важное послание еврейских активистов руководителям еврейских общин США, и огласят его по прибытии в Нью-Йорк".

После оглашения нашего послания перед толпой американских корреспондентов, у представителей еврейского эстеблишмента не осталось выбора. Новое сообщение по радио:

„Руководители еврейских общин США отказали президенту Никсону в его просьбе не поддерживать поправку Джексона".

*

Поздним вечером мы сидели у меня дома с Владимиром Слепаком, когда примчался наш друг Дж. А. – американский журналист. Он был сильно взволнован:

– Я прямо с официального приема в честь нашей экономической делегации во главе с министром экономики Лазарусом. Министр хотел с вами встретиться, но не успел. Он отвел меня в сторону и просил передать вам: поправка Джексона – это как атомная бомба! Ею можно грозить, но нельзя применять. Если поправка будет принята – конец разрядке. А вся злоба, все разочарование советских властей, рассчитывающих на американскую экономическую помощь, да и злоба советского народа обрушится на вас, евреев!

Мы молчали. Дж. продолжал:

– Лазарус велел мне передать вам предложение, не его личное, разумеется. Вы должны написать от имени советских евреев письмо, в котором скажете, что не хотите быть препятствием на пути сближения между великими народами в деле необходимой разрядки и призываете своих соплеменников в США отказать сенатору в поддержке.

Мы молчали.

– Если вы напишете такое письмо, то вам обещается, и вы понимаете, *кто* это обещает – добиться для вас разрешения на выезд путями тихой дипло-

матии. Это будет сделано на самом высочайшем уровне! Ребята, вы все уедете!

Решили все же, что хотя дело ясное — ответа давать мы не имеем права. Надо посоветоваться с остальными. Несмотря на поздний час, поехали к Польскому, оттуда к Борису Орлову.

Польский быстро определил суть дела: „Если мы согласимся, это будет предательством по отношению к нашим товарищам здесь, нашим друзьям в Америке и к сенатору Джексону!"

— Я знал, что вы откажетесь, — сказал на следующий день Дж., — но вас лично мне жалко.

Как известно, поправка Джексона не оказалась атомной бомбой: из тех, кто тогда формулировал ответ Лазарусу, все, кроме Слепака, выехали в Израиль.

Эта история имела продолжение.

Андрею Дмитриевичу Сахарову позвонил из Вашингтона шеф бюро одной американской газеты: „Что за история была в Москве у Лазаруса с советскими евреями?"

Сахаров рассказал, что знал. Московский корреспондент этой газеты приходил ко мне. Газета обратилась к самому Лазарусу...

— Ерунда, — ответил тот, — еврейские активисты просили меня о встрече, но я был слишком занят. Кстати, корреспондент Дж. может это подтвердить.

Когда в 1974 году Дж. покинул Москву, вся эта история появилась в израильской печати.

*

Его имя и фамилию я теперь уже начисто забыл. Еврей из Одессы, инженер по образованию, он жил

во Франции, занимался крупными делами, продавая Советскому Союзу оборудование для авиапромышленности, и был как-то связан с той же промышленностью в Израиле. Из Парижа он ездил то в Москву, то в Тель-Авив.

Уверенный в том, что одичавшие и нищие евреи России ждут от каждого приезжающего подарков, он, приезжая в Москву, одаривал всех — кому начатую пачку американских сигарет, кому пластинку жевательной резинки, кому пластмассовую газовую зажигалку, кому почтовую открытку... Дамам он привозил бесплатные образчики духов из парфюмерных магазинов.

Я встретил его у Слепака.

— Послушайте, — сказал гость, презрительной гримасой показывая, что нам надлежит его слушать, а ему пристало нас поучать, — послушайте, вы знаете, кто такой М.Б.?

Мы ответили, что слышали это имя.

— Мы с ним часто обедаем. Я виделся с ним перед отъездом, и говорю от его имени. Поймите, — продолжал гость, — от вашего трепыхания ничего не изменится. Отпускать, не отпускать — эти дела решают на высоком уровне, это решают дипломаты, деловые люди, как я, журналисты... (Мы со Слепаком знали, что Виктор Луи перед тем побывал в Израиле.) Вам дается хороший совет: постарайтесь поскорее договориться с властями.

— Уж не с КГБ ли? — спросила ледяным голосом Маша Слепак.

— Договариваться надо с теми, кто решает!

Странно: близкие по духу советы я слышал уже на Западе от весьма ответственных чиновников, которые так же лениво и снисходительно

объясняли мне, что шум и демонстрации — ерунда, что все решается на верхах, путем прямых и тайных переговоров между компетентными ведомствами.

Разрядка — сложный и многоплановый процесс. Все равно надо шуметь и кричать!

Из „Хроники защиты прав в СССР"

„Джон Линдзей, мэр Нью-Йорка, во время визита в СССР встретился 9 мая в Москве с группой московских евреев.

Присутствовали В. Левич, К. Хенкин, В. Слепак, В. Польский и др. На встрече обсуждались проблемы, связанные с трудностями эмиграции евреев".

Сумасшедший день! От Линдзея приезжали эмиссары и помощники — уточнили, когда и с кем приедет к нам мэр города Нью-Йорка.

Прибрав нашу опустевшую квартиру, Ира, моя жена, поехала в кондитерскую гостиницы „Националь" покупать яблочный пирог к чаю. Беря такси на стоянке перед высотным домом, заметила: на хвосте легковая „волга", а за ней военный закрытый „рафик". Сопровождали до самого „Националя", ждали там и проводили назад до подъезда.

Примерно за час до назначенного времени все собрались у меня. Но приехал Сеймур Граубард, член свиты Линдзея, нью-йоркский адвокат и глава еврейской организации „Лига борьбы с клеветой".

— Увы, — сказал он, — Линдзей не приедет.

Узнав о предстоящей встрече, председатель Моссовета Промыслов специально просил Линдзея ее отменить. Линдзей отказался. Промыслов пошел на компромисс: так и быть, встречайтесь, но не на

частной квартире, а у Линдзея, в гостинице „Советская". И еще: чтобы снять слишком радушный характер – без жен.

В назначенное время на машине Виктора Польского отправились в путь. Две „волги" КГБ шли за нами до самого подъезда гостиницы. До сих пор не понимаю: раз уж не смогли помешать встрече, зачем было сопровождать?

В холле и коридорах „Советской" – одни топтуны. Куда девали жильцов? Или их вовсе не было?

По дороге договорились: не поддаваться на рассказы „человеческих историй", говорить только об общих вопросах...

Наконец, американский телохранитель Линдзея разлил водку, разнес пирожные с кремом на закуску (!), и мэр Нью-Йорка обратился к нам. И конечно это было: „Пусть каждый из вас расскажет свою историю".

На обратном пути за нами снова шли две машины.

*

Сахаров и Максимов встретились у меня на квартире с писательницей Люси Фор, женой председателя Национальной Ассамблеи Франции Эдгара Фора (он сам в последнюю минуту заробел). Шеф бюро „Франс-Пресс" в Москве, Эдуард Диллон, почти не вступая в разговор, подробно все записывал. Я переводил.

*

На что я рассчитывал?

Расчет был примитивно прост. Надо было, чтобы любое действие властей становилось тотчас известно на Западе, чтобы власти были вынуждены в своих решениях считаться с гласностью и идти периодически на уступки. Так нам все это виделось тогда.

В личном плане, на посту связного между еврейским движением и западными журналистами, я надеялся доказать властям, что я не успокоюсь, и меня, следовательно, надо либо сажать, либо отпустить.

Факт моего отъезда подтверждает правильность этого рискованного расчета. А мое нынешнее ви́дение характера и пружин третьей эмиграции говорит мне, что это – ерунда.

Тогда я верил, что удачное сочетание некоторой известности на Западе с невыносимостью для властей внутри России должно принести мне свободу.

Уезжая, я передал все дела и связи с журналистами двум энергичным молодым людям: биохимику Александру Гольдфарбу и филологу Владимиру Козловскому. Напутствовал их действовать осмотрительно, но вызывающе. Оба выехали. Гольдфарб работает в институте Вейцмана в Израиле, Козловский преподает в университете в США. Оба, уезжая, передали все дела и связи вместе с напутствиями и рекомендациями Анатолию Щаранскому. Он, *за то же самое,* получил тринадцать с половиной лет лагерей строгого режима.

Пойди, угадай!

А кричать все-таки нужно. И отравлять существование властям.

Я полагал, вслед за маркизом де Кюстином, что „когда солнце гласности взойдет, наконец, над Рос-

сией, оно осветит столько несправедливостей, столько чудовищных жестокостей, что весь мир содрогнется".

„Солнце гласности" я поднять раньше времени не рассчитывал, но хотел кое-что подсветить карманным фонариком.

Словно заглянув в наши дни, проницательный маркиз писал в продолжение вышеприведенной фразы: „Впрочем, содрогнется он не сильно, ибо таков удел правды на земле. Когда народам необходимо знать истину, они ее не ведают, а когда, наконец, истина до них доходит, она никого уже не интересует, ибо злоупотребления поверженного режима вызывают к себе равнодушное отношение".

Безобразия не поверженного, а существующего ныне режима, который почему-то мнят изменившимся, тоже мало кого волнуют.

Сначала это коробило, потом я понял, что обижаться нечего, а надо считаться с фактами. Постоянное общение с западными журналистами подготовило меня к жизни вне России, облегчило понимание различий в видении окружающего мира.

24. ОТЪЕЗД ИЛИ ПЕТЛЯ?

... Приближалась годовщина дня, когда у нас отобрали визы. Мы с женой решили в этот день покончить с собой. Причем так, чтобы это не прошло незамеченным. С несколькими людьми мы об этом говорили.

И тогда, как будто случайно, в очереди в гастрономе рядом с женой оказалась Эвелина Фишер. Подошла и встала рядом. На вопрос, как

дела, жена разрыдалась. Они отошли в сторону. Жена сказала о нашем решении: „Нам нечего терять, а выносить больше нет сил". Эвелина запричитала, что это безумие. Жена повторила: „Мы все поставили на карту, терять нам нечего, назад не вернемся. Не отпустят — сделаем на прощанье, что сможем!"

Через несколько дней пришла открытка от Елены Степановны Фишер (телефон у нас уже отключили). Она звала меня приехать к ним на дачу.

Отправляясь в этот так хорошо знакомый мне дом, я опасался встретить там кого-нибудь из Виллиной „конторы" и собирался в таком случае сразу уехать. В то, что Елена Степановна хотела поговорить со мной просто, „как со старым другом Вилли", я не верил.

Никого из коллег Вилли у Фишеров, однако, не было. Мать и дочь были одни.

Зачем же в абсолютно пустом доме понадобилось уводить меня на второй этаж в комнату Вилли, откуда теперь убраны картины и книги? Было удобнее говорить внизу, в столовой-гостиной. Никто не мог прийти неожиданно — когда у Фишеров открывали калитку, начинал звонить звонок.

Я подсознательно отметил поспешный уход домработницы, старухи Фени, при моем появлении. Отметил и то, что в комнатке второго этажа, где всегда был один стул — стул самого Вилли — и один табурет, стояли на этот раз кресло и два мягких стула.

Комната после смерти хозяина была заброшена. Меня слишком уж нарочито усадили в кресло.

Я не стал шастать глазами вокруг, ища микрофон, записывающие или передающие устройства. Это было не нужно. Я знал, что каждое мое слово

либо передается „куда следует" и разговор подслушивают, либо записывают, чтобы прослушать позже.

Никогда в жизни я не был так собран и напряжен. В душе появилась надежда — кажется, упрямство мое сработало!

Тон мой был решительным, но не агрессивным. Я не пугаю, не блефую. Но принял решение и исполню, что задумал.

И еще одно. Я — друг Вилли, я — друг дома, но — без вызова и сведения счетов — я знаю, что мать и дочь сыграли в моей жизни неприглядную роль и обязаны исправить то, что натворили. Этот разговор — не начало переговоров, а последняя встреча перед отъездом или смертью.

А уехать я хочу из верности правильно или неправильно принятому решению. Да хотя бы из простого упорства. Это вопрос самоуважения и принципа, и потому я не уступлю. То же касается моей жены. Ни о каких переговорах не может быть речи.

Одно лишь я могу сказать (и тут я слукавил): я еду за границу не для того, чтобы заниматься какой-либо политической — включая литературную — деятельностью. Я просто хочу прожить последние годы в западном комфорте, в обстановке моей юности. Причем на жизнь я буду зарабатывать синхронным переводом. Я уже вел об этом переговоры. (Это была правда — они могли проверить. Я для того и вел эти переговоры.)

Таковы были карты.

Говорить об истинных намерениях было бы с моей стороны пустой и глупой провокацией. В добрые отношения ко мне Эли и Эвуни я верил. И чуял, что от их реакции что-то зависит. Не само решение, но его подсказ. Скажи я, что посвящу последние го-

ды жизни устройству посильных пакостей советским властям, – я лишу их возможности и желания хоть как-то мне помочь. А заодно и лишу возможности кого-то из их опекунов выкинуть меня на Запад.

А потому – первый пункт в системе доказательств: я просто хочу посмотреть мир, пожить.

Второй: я дойду до конца. Упрямство. Отказ от задуманного я отметаю, как унизительный для себя.

Возможно, что тот, кто принимал решение на основании моих слов, не очень в них верил. Но формально у него была возможность сделать доброе дело.

Третий пункт: никаких не только переговоров, но даже разговоров с „Вилюшиными товарищами" не будет!

– Почему? – Елена Степановна немного опешила.

Я был уверен, что нас слушали, говорил громко и четко.

– Потому, Эля, что вашим друзьям я не смогу сказать ничего большего, чем сказал сейчас. Я вас уполномочиваю передать им все в точности. И с ними я говорил бы менее спокойно, менее сдержанно, и мог бы этим все испортить.

– Но все-таки... Вас это ни к чему не обяжет.

– Ни под каким видом. Такой ценой я не хочу уезжать.

Я ушел. И все, что было физически связано в моей жизни с Вилли, с его семьей и домом, безвозвратно ушло в прошлое.

Не ушло лишь то, что я приобрел в годы общения с Вилли, отчасти из его поучений, отчасти на примере его жизни. Все это – мое, и вряд ли куда-нибудь денется, пока я жив.

Вилли научил меня смотреть на реальность так,

чтобы выявлялась скрытая сторона вещей. И оказалось, что однажды научившись схватывать суть загадочной картинки, уже не можешь не замечать среди ветвей и оленьих рогов не очень хитро скрытого охотника.

И еще Вилли научил меня, подчас для него самого бессознательно, просто своим примером, характером, отношением к событиям и людям тому, что за него замечательно сказал московский поэт Игорь Гарик:

„Чтоб как-нибудь прожить на этом свете,
Пока земля не свихнута с оси, –
Держи себя на тройственном запрете:
Не бойся, не надейся, не проси!"

25. НАДО ЛИ ТОРГОВАТЬСЯ С КГБ?

– Только на х...!

Так определял живущий ныне в Израиле бывший отказник, историк Борис Орлов, единственно правильную и научно обоснованную форму общения с органами государственной безопасности.

Такой вариант „жизни не по лжи" представляется мне правильным по причинам многим, как рациональным, так и иррациональным.

Рациональные соображения сводятся в основном к тому, что приняв диалог с собеседником несоизмеримо более могущественным, играя в его игру по его правилам, вы не можете выиграть.

Мне возразят: примеры из еврейской жизни неубедительны. Когда беседы идут с настоящими людьми, то все делается иначе. Хорошо известны

случаи иных наших духовных вождей, чья железная воля позволила совершенно подчинить себе уполномоченных КГБ и заставить их даже привезти на дачу ящик пива.

Нужно ли добавлять, что морально сломленные „органы" полностью затем капитулировали и разрешили им выехать на Запад, вывезя огромную и ценнейшую библиотеку и иконы.

„Надо уметь с ними разговаривать!"

Мне очень нравится эта история. С одним условием: чтобы от меня не требовали принимать ее всерьез.

Да, люди значительные, талантливые и умные вели перед выездом успешные переговоры с органами (ГБ или ЦК — не все ли равно?) и находили общий язык. Добивались, говорят, со стороны этих высоких инстанций односторонних уступок.

Даже если и не вполне односторонних... Зато ставка была высока. Например, обеспечение эффектных условий отъезда. Чтобы и ежу было ясно, что человек не просто, что называется, свалил, а расстался с любимой родиной лишь под страшной угрозой.

Пусть значительные, исторические личности поступают, как хотят. Я о своем рационально-иррациональном упрямстве не жалею. Меня все равно отпустили, а душу я между тем спас. Поступи я иначе, я чувствовал бы себя неуютно.

Впрочем — ерунда. Просто это был бы не я. И собака у меня была бы другая. Приносила бы, чего доброго, поноску!

А потому для людей, не несущих на себе бремя ответственности за судьбы родной страны и народа, наиболее приемлемой формой общения с органами

государственной безопасности остается, на мой взгляд, только чеканная формулировка историка Бориса Орлова: „На х...!"

В этом что-то есть.

Когда в почтовый ящик твердо упала открытка, я знал, откуда она и что в ней сказано.

Звонок в дверь раздался почти в тот же момент.

На пороге стоял сам заместитель начальника отделения милиции нашего района. Его свежевыбритое лицо сияло, на груди — колодка орденских ленточек.

Для него тоже был праздник — кончилась эта паршивая история, портившая всю картину образцового высотного дома на Котельнической набережной. И можно забыть про пакет с советскими паспортами и прочими документами — моими и жены — которые лежали у него в сейфе и которые мы несколько раз отказывались взять обратно.

В руках у него тоже была открытка из ОВИРа.

В ОВИРе меня принял сам товарищ Фадеев, начальник. Жестом указал на двух в штатском, сидящих в углу кабинета:

— Это товарищи из Министерства внутренних дел.

Товарищи из „министерства" кивнули.

— Мы знаем, что морально вы к отъезду уже подготовлены. Послезавтра вам официально выдадут разрешение. Срок — три дня. Мы пригласили вас сегодня, чтобы у вас было время уложить вещи.

Он, возможно, и вправду не знал, что после одиннадцати месяцев „отказа" укладывать было нечего.

Мы достали свои билеты, купленные годом раньше

ше, и доплатив, что надо, полетели первым классом: в самолетах Аэрофлота есть один плюс — собакам разрешают лететь в салоне.

После мучительной процедуры таможенного досмотра — больше трех часов — Миня, пройдя с нами через последний рентген, заснул, растянувшись в проходе у двери в кабину пилота. Бортпроводницы ахали на него и умилялись, напоили водой, накормили холодной аэрофлотовской курицей. Он ел, не подозревая, что в израильском ульпане ему придется есть курятину до отвращения.

Самолет Аэрофлота рейс номер 633 приземлился в Вене.

Началась новая, третья жизнь.

Началась моя вторая эмиграция.

26. ДВАЖДЫ ЭМИГРАНТ СОВЕТСКОГО СОЮЗА!

Доступное каждому выехавшему из СССР понятие „эмиграционный шок" имело для меня двойное значение: удар отъезда и потрясение возвращения.

Не буду лицемерить, будто тоскую по чахлым подмосковным березкам и троллейбусному мату. Да и разговоры на кухне в интеллигентных домах успели изрядно надоесть. Но остались в Большой Зоне до боли дорогие люди. Мало, очень мало. Но остались.

Немного радости принес мне Запад. В знакомом с детства, но ставшем мне чуждом мире я ищу свои следы, пытаюсь восстановить прерванную связь времен. Ищу себя не в странах реальных, где нет для меня языкового барьера, преграды, но и защиты. Я ищу себя в другой стране, которой нет на карте.

Стране без территории и правительства. Великая диаспора выходцев из России. Эмиграция. Она не имеет строя, и ее границы размыты. Но у нее есть свои центры культуры и мысли, столицы и захолустья, своя трудно определимая иерархия, структура, моды и увлечения.

Вторично покинув Россию, я первое время очень много ездил. И столь стремительны были переезды, что мне начинало казаться — стерлись все грани. Стоит выйти с Вашингтон-сквер, завернуть за угол, и вот она — улица Володарского, по ней от моего дома на Котельнической — два шага до Таганки, а там чуть левее — и бульвар Монпарнас, и кафе Дóм, где мы, бывало, до зари сидели с другом юности Владимиром Варшавским.

Старо-новая география эмиграции утряслась в сознании и подсознании не сразу, как утрясается в голове водителя маршрут родного города, и лишь постепенно уходили в запасники памяти, отдалялись и таяли улицы и дома Москвы.

Изменилась топография чувств и привязанностей. И я стал забывать московские адреса и телефоны.

В России я часто мечтал о Париже. И казалось, — не может быть мига слаще, чем возвращение туда, счастья большего, чем жизнь в городе, в котором я вырос.

Что же стало с Парижем тех лет, с Парижем эмигрантским? Неужели он так изменился?

Нет, он очень мало изменился, и потому, вероятно, стал мне чужим.

Володя Варшавский провел последние годы жизни под Женевой.

— Почему ты так редко наезжаешь в Париж?

— Ты знаешь, — ответил он с непередаваемой сво-

ей извиняющейся интонацией, — ты знаешь, они все там стали такие советские.

Стали? Или остались? Укрепились в том, что уже было тогда. Но что не все замечали.

... После целой вечности разлуки меня так тепло приняли в этом русском парижском доме. Болтали. Вспоминали. Вдруг в разговоре мелькнули умиленные слова о советском генеральном консуле Тарасове: „Да, с тех самых пор не было на этом посту ни одного такого приятного человека...", — сказала моя старая приятельница.

Конечно же! Тарасов, отставной полковник КГБ Василевский. А в Испании — Гребецкий. Генеральный консул...

Мне стало грустно в этой семье, где так много сил отдают пропаганде русского искусства. Откуда время от времени ездят гостить в Москву.

Я навестил дом, где прошли мое детство и юность. И еще живущих там друзей. Почему-то, распахивая тяжелую калитку, я вспомнил не жизнь здесь, а возвращение сюда из первой долгой и значительной отлучки. Из Испании. Как билось тогда сердце, как жадно впитывал все взгляд, как остро ощущалась неповторимость и значительность момента!

От медонского вокзала я тогда медленно поднялся до рю Эро. Там меня ждали утонувший в тени огромных деревьев сад, сочная зелень травы, посыпанная гравием дорожка. Так оно было. Тогда.

... Облупилась краска, на калитке, на участке выстроили школу. И одно лишь дерево стояло у асфальтом залитой дорожки.

Дурные запахи, грязь, сырость, подтеки на стенах

запущенного дома, из которого хозяин хочет выжить неисправных жильцов...

Отсюда, из этого дома, эти самые старушки (тогда еще не старушки) провожали меня в путь, из которого могло не быть возврата.

Но я вернулся. Успел вернуться, побывав там, повидав, по словам Кюстина, „пустыню без покоя, тюрьму без отдыха, которая именуется Россия".

Старушки были рады, суетились, угощали, хлопотали. Рассказывали: такой-то умер, такой-то уехал из Франции...

— Ну, а что ты собираешься делать?

И после короткой паузы, переглянувшись:

— Ты, надеюсь, не будешь, как некоторые, дурно говорить о нашей родине?

Этот дом принадлежал нам, нашей семье, и мы занимали в нем два верхних этажа. Здесь часто и подолгу гостила у нас дочь Марины Ивановны Цветаевой, Ариадна (Аля) Эфрон. Сюда, в этот дом прибежал тогда Сергей Эфрон с криком: „Кирилл сошел с ума! Если он так уж хочет ехать, я ему это устрою!"

— Не думаю, — сказал мне старый русский парижанин, — что Сергей Эфрон был советским агентом. Просто его запутали в грязную историю.

Запутали! Так можно сказать, что маршала Жукова запутали в военные действия. Нет, пока мы будем играть в жмурки и не называть вещи своими именами, мы не поймем до конца того, что происходило и происходит вокруг нас. И в России, и на Западе.

Нельзя понять старую русскую эмиграцию, сбрасывая со счетов ее пронизанность советской агенту-

рой. Это так же нелепо, как рассказывать историю Евно Азефа, ограничиваясь этапами его службы инженера в Русском электрическом обществе.

Эмиграция как объект деятельности и орудие советской разведки — это факт. Факт для понимания нашей истории, прошлой и настоящей, не менее важный, нежели определение истинной роли опричнины в истории России или гадания: что было бы, возьми своевременно власть Союз русских инженеров.

Не все же, голубчик, не все. Вот в вашем этом противовоздушном батальоне в Испании командиром был „майор Кордэ". Это же Константин Борисович Радзевич! Тот самый Радзевич, о котором Ивинская пишет, что у него „с Мариной Цветаевой был бурный, получивший широкую огласку, вполне реальный роман".

Ведь что же получается — и муж и любовник Марины Цветаевой — советские агенты! Не много ли? Так вы, чего доброго заявите, что другой ваш сослуживец, Лев Борисович Савинков, сын знаменитого Бориса Савинкова...

Нет, нет, разумеется! Конечно, далеко не все эмигранты были в таких делах замешаны.

Так, мой московский коллега, переводчик Константин Константинович Парчевский объяснил мне ясно, что его отец, писавший в газете „Последние новости", которую издавал Милюков, и в журнале „Иллюстрированная Россия" никогда ни в каких темных делах не участвовал.

И верно: разъезжая корреспондентом по странам русского рассеяния, он просто в дополнение к своим корреспонденциям в газету писал более подробные отчеты генеральному консулу СССР Тарасову, то есть Льву Петровичу Василевскому. (Это

же не шпионаж! Просто Тарасов хотел знать, как живут русские эмигранты в Парагвае.) И, никого не убивая, заслужил все же право вернуться на родину. Когда немцы пришли в Париж, семья получила советские паспорта и через Германию, как Морис Торез, уехала в Россию. По приезде их посадили, но ненадолго, а лишь до приезда Василевского, который задержался в пути.

Все устроилось. Папа поступил в международный отдел „Огонька", старший сын Олег пошел вскоре служить в одну со мной часть, а потом в Четвертое управление. Должен был лететь с заданием в Югославию, но не улетел. Стал после войны работать редактором в издательстве иностранной литературы.

„Надеюсь, ты не будешь говорить дурно о нашей родине?"

А куда вы денете удавку на шее Марины Цветаевой?

27. УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОГО ОБМАНА

Когда в Москве один друг предупреждал меня о трудностях и холоде жизни на Западе, я сказал, что все равно хочу умереть за воротами советского лагеря. Пусть никто мне не поможет, никто, по крайней мере, не будет мне вбивать в башку, что я счастлив.

Цена отъезда высока. Но она оправданна. Ехать надо хотя бы для того, чтобы не быть соучастником. Чтобы помимо своей воли, не превратиться в винтик, даже внутренне протестующий, исправно

действующей, преступной и безнравственной системы.

– Его нужно понять, сказал дон А., кладя трубку на рычаг. – Компания „Петронор", которую он возглавляет, торгует с Советским Союзом.

Так сорвалась моя попытка взять интервью у Альфонсо Осорио, председателя недавно основанной *правой* партии Испании.

В Мадриде создано общество дружбы „Испания–Израиль". Основатель и председатель общества Макс Мазин отказался беседовать с представителем радиостанции, которую в Москве вроде считают антисоветской. Он, оказывается, тоже торгует с Советским Союзом.

Торгуют или надеются торговать с Москвой восемьсот банков, промышленных предприятий и фирм Испании.

По сравнению с операциями на западном рынке, оборот ничтожный. Но есть несколько деляг, сильно заработавших на сделках с Москвой. Глядя на них (к примеру Продаг-Мендоза), другие нервничают и, боясь потерять выгодное дело, готовы на любые уступки.

А в США? Там множество деловых людей, ни черта не заработав на торговле с Москвой, ратуют за ее развитие, оглядываясь на мультимиллиардера Армана Хаммера, богатство которого целиком основано на дружбе с СССР.

Когда президенту Оксиденталь Петролеум Арману Хаммеру понадобилось создать в Лондоне свое переводческое бюро, то для руководства им и подбора персонала из Москвы приехала сотрудница так называемого Управления по обслуживанию дипкор-

пуса, филиала КГБ, наблюдающего через обслугу за дипломатами и иностранными журналистами.

Итак, с одной стороны, деловые люди и промышленники Испании, стихийно рвущиеся к подчас мифическим барышам, а с другой — партнеры, которые в каждой сделке руководствуются исключительно политическими соображениями, которые могут тянуть и ждать, отказываться от выгодных контрактов и заключать убыточные сделки, лишь бы укрепить свои политические позиции...

Прибавьте к этому, что вся торговля со странами восточного блока и с СССР в обязательном порядке идет либо через государственные торговые организации, либо через местные фирмы или банки, имеющие посредническую монополию и отчисляющие с получаемых барышей взносы в кассу местной компартии.

На таких посредниках зиждется отчасти финансовая мощь компартий Италии и Франции. Теперь начинает набирать в этом смысле силу и компартия Сантьяго Карилльо, самая еврокоммунистическая из западных компартий.

Это с одной стороны — со стороны, так сказать, капитала. А со стороны рабочего класса?

Когда я был в Испании, там одновременно проходило в среднем десять забастовок в день. Одни заканчивались, другие продолжались или начинались. Контролируемые коммунистами рабочие Советы, которые поддерживают теснейший дружеский контакт с ВЦСПС, могут в любую минуту сорвать всякое мероприятие правительства, направленное на подъем расшатанной экономики страны.

Таковы два рычага давления на страну. Но это

не все. Мадридские газеты „Диарио-16" и „Информасионес" опубликовали данные о связи КГБ с баскскими террористами, о помощи, которую Москва им оказывает. В частности, „Информасионес" приводила фразу, которую одно высокопоставленное лицо в Москве сказало важному испанскому гостю:

— Если вы не вступите в НАТО и позволите нам использовать Испанию как трамплин для проникновения в Латинскую Америку, мы оставим вас в покое в Стране басков.

Газета „Известия" не нашла иного опровержения, как заявить, что никто в это не может поверить, ибо такие слова противоречат хорошо известной принципиальной позиции Советского Союза.

Пример Испании пленяет простотой и наглядностью.

Он наводит на риторический вопрос:

„Очень ли нужен в такой обстановке „полковник Абель", переписывающийся с начальством через куриную ножку?"

И второй риторический вопрос:

При таком размахе операций не отошло ли получение информации, в известной мере, на второй план, уступив место борьбе за рычаги влияния, манипулирования странами, за определения их политической линии?

И еще (не вопрос уже, а констатация): везде и повсюду проникновение СССР носит массовый характер.

Если Запад, отставая от СССР на один-два хода, не может предугадать поступки Москвы, то нам, вы-

ходцам оттуда, ничего не стоит спрогнозировать будущее советизированного земного шара.

Лучше не жить!

Когда я начинал писать эту книгу, то хотел просто рассказать все, что знал о Вас, Вилли. Но одна мысль цепляет другую — как не задуматься над тем, что происходит в мире, в котором для Вас не стало места. Что происходит с той страной, которой Вы всегда служили и которая так Вас пугала в последние годы?

Где и в чем надежда?

А кто сказал, что она должна быть?

Уточним и другое. Говоря, что мы, выходцы из СССР, ясно видим в мире вещи, которые скрыты от западного глаза, я не хочу этим сказать, что мы в чем-то выше западных людей. Или умней.

Просто у нас другой опыт. Мы побывали, не по своей воле, на конечной остановке отправляющегося поезда и знаем, что он идет не на курорт, а в газовую камеру. В этом знании, в этом опыте нет нашей заслуги. Дайте срок, и западные люди все это узнают не хуже нас.

Больших трудов стоило уцелевшим узникам Треблинки послать гонцов своим братьям-евреям, чтобы предупредить их об опасности.

Никто этих гонцов не захотел слушать. Умные люди не любят слушать паникеров, которые не могут им предложить конструктивных решений и оптимистических перспектив.

К тому же, взращенные советской системой, мы не только обучены, мы еще ею и деформированы.

А потому ждем от Запада того, чего он дать не может.

Воспитанные на идеологии, которая претендует дать ответ на все вопросы, мы ищем иную идеологию, которая их действительно даст. И даже не это главное. У большинства из нас трудность иная и на ином уровне, на уровне вопросов, которые в Союзе просто отрицались, а здесь оказались не имеющими ответа.

На каких широтах найдете вы разрешение проблемы одиночества, неминуемости смерти, шаткости дружбы, боли разлуки и горечи угасания чувств?

А ехать было все равно надо!

28. БЕЗ ВИЛЛИ НЕ РАЗОБРАТЬСЯ!

Ваша шпионская работа, целиком сотканная из условностей и лжи, помешала Вам сосредоточиться на том, что Вы сами считали основным: работа, дружба, любовь, смерть.

И Ваши малопонятные (впрочем, для меня понятные) последние слова, словно вызов всей Вашей официальной жизни, утверждают меня в мысли, что железобетонный мир непоколебимых концепций и истин, унаследованный от Генриха Матвеевича, дал глубокую и непоправимую трещину.

Когда?

Вы с детства верили в победу дела, которому служили. Что же, к сожалению эта вера вполне оправданна. Выросшая на критике и изучении капиталистической системы, социалистическая система переигрывает ее легко и, вероятно, переиграет до полного уничтожения. Но верить в победу и верить в пра-

воту — вещи разные. И мне кажется, — я сужу по некоторым Вашим замечаниям — что Вы начали приходить к мысли, что верить в победу социализма очень безотрадно.

Это все равно, что верить в неминуемую катастрофу.

Еще одна тема, которую мы с Вами наметили и не успели обсудить.

Мы не раз говорили о двойниках, об их растущей роли в разведке. Вам, приверженцу классицизма, это претило.

Вы как-то сказали: „Скоро вообще нельзя будет понять, кто есть кто"? Вы воспользовались выражением „ху из ху"?

Почему же бывший начальник СМЕРШа Абакумов, ставший наркомом государственной безопасности и Вашим шефом, послал Вас на вышедшую из моды и устаревшую роль „классического" нелегала?

Эту вышедшую из моды работу Вы, очевидно, и выполняли первые годы Вашей жизни в Америке и лишь затем Вас провалили. Зачем? Чтобы утвердить противника в мысли, что работа Москвой ведется старыми методами? Для укрепления позиций какого-то двойника? Уж не „Шведа" ли? Или Хейханнена? Вряд ли. Этот играл, мне кажется, вспомогательную роль, хотя и был липовым предателем.

Но главное тут другое. Когда противники — и какие! начнут, не свернут с пути! — начинают одновременно применять метод засылки двойников, один с русским революционным размахом, другой с американской деловитостью, могут ли они в порыве игры избежать постепенного взаимопроникновения столь глубокого, что оно перейдет уже в некое слия-

ние? Но при таком слиянии какая-то сторона должна получить преобладание, как более сильная. Как любят писать некоторые обозреватели: будущее покажет, в каком мире мы живем.

*

Меня не было в Москве, когда туда приезжал и искал встречи с Вилли его бруклинский друг, художник Берт Сильверман.

Начальство, разумеется, категорически запретило встречу, хотя существование „полковника Абеля" было уже тогда официально признано и его персонаж был включен в пропагандную обойму. Вилли очень переживал. Видел в этом злобную зависть московских шефов к подчиненному, познавшему звездный час мировой славы, за которую легко можно было заплатить жизнью.

С огромным смаком рассказал мне Вилли о пикантном продолжении этого визита.

Пытаясь связаться с Вилли через Виктора Луи, Сильверман дал ему для передачи своему другу несколько проспектов собственной выставки и альбом рисунков их общего друга Дэвида Левина с намеренно безличной дарственной надписью.

Проспекты были без задержки переданы по назначению. Альбом же через некоторое время привлек внимание книголюба Мориса Коэна, когда тот рылся на полках букинистического магазина на улице Качалова, 10. Сообразив, кому предназначен альбом, Коэн тотчас его купил и привез в Челюскинскую.

— Уровень! Уровень! — возмущался Вилли. Он полагал, что альбом украл не Луи. Богат, да и не посмел бы. Скорее, какой-нибудь средний началь-

ник. Вилли думал на Пермогорова. Авось сойдет! Никогда не вредно заработать пятерку.

Уровень! Уровень!

Вилли был, разумеется, прав, и украл альбом кто-то из „конторы", но встречу ему запретили, полагаю, не только из зависти.

Как видно из письма, которое оставил для передачи Вилли Берт Сильверман, он хотел просить у него прощения, что после ареста „Эмиля Гольдфуса" не захотел с ним переписываться.

В Москву он приехал искать ответа на вопрос: предал ли „Эмиль Гольдфус" их дружбу, простым фактом притворства, выдавая себя за другого.

Мне кажется, что произойди эта встреча, прощения просил бы Вилли. Именно из-за предательства дружбы (которую Вилли так высоко ценил), этого человеческого чувства, мой друг переживал происшедшее. Мне кажется, что в Америке и произошел у Вилли душевный перелом. Там впервые в жизни он пережил свою работу, или хотя бы часть ее, как предательство. Притворство перед бруклинскими друзьями было ему в тягость. Прежняя работа за границей не нарушала его морального комфорта, позволяя четко различать между товарищами по работе, с которыми он был откровенен и душевно близок, и людьми окружавшего его чуждого мира, по отношению к которым у него не было моральных обязательств. Но по мере того, как дома, в России, мужал и креп советский строй и постепенно исчезали его товарищи, на смену которым приходили люди ему глубоко чужие, это шаткое равновесие исчезало.

Пока не появилось чувство, что он обманывает

своих ради людей ему чуждых и даже, возможно, враждебных.

Инерцию верности не так легко преодолеть, а этой инерцией Вилли был наделен в изобилии. И он сохранил формальную верность тем, кому служил всю жизнь. Формальную, но мне сдается, не внутреннюю.

Как увлеченно он говорил о своих бруклинских друзьях, как презрительно определил Фильби одним словом: „предатель", как легко понял и принял мое решение уехать из России и сохранил мою тайну.

Последние годы Вилли запоем читал Самиздат и Тамиздат, которые я ему носил. Ему было бы, разумеется, все это легко достать на работе через того же еще не умершего Агаянца, специалиста по дезинформации, с которым он дружил. Но на это Вилли не хватало — боялся показать сослуживцам свой интерес к запрещенному. Читал тайком от жены и дочери.

А после того, как я дал ему прочесть „Воспоминания" Надежды Яковлевны Мандельштам, я не уезжал из Челюскинской без собственноручно срезанного и собранного им букета, который отвозился на Черемушкинскую улицу. „Это от вашего шпиона?" — „Да, от него".

И уж совсем тайком, в лесу, на прогулке с собаками он сказал мне: „Если все до конца осознать и признать, то остается только взять веревку и повеситься".

Сыгравши до конца роль полковника Абеля, вернувшись в Москву, Вилли Фишер был уже не тем, которым отправился в путь в 1948 году.

Не случись ему сыграть „полковника Абеля", не окажись он перед выбором: верность КГБ или

служба в ЦРУ, кто знает, что бы стало. И Вилли, может быть, нашел бы и для себя хитрый ход, чтобы сойти с того чуждого ему по существу пути, ведущего мимо настоящего дела и, главное, мимо искренних человеческих чувств. Но с этого пути, неосторожно избранного Вилли, уходить надо в самом начале.

Не знаю, может ли появиться сегодня новый „полковник Абель" – новый Эмиль Гольдфус или Вилли Фишер появиться не может.

– Я обязан вам своей нынешней свободой, – сказал я однажды Вилли. В саду на даче нас никто не мог слышать, кроме о чем-то совещавшихся собак.

Вилли сразу понял о чем я говорю, улыбнулся.

– Не надо только говорить об этом моему начальству.

С Бишкой случился в этот момент, как с ним часто бывало, припадок, вроде эпилептического. Он, упав на бок, забился в судорогах. Опустившись на колени, Вилли стал массировать пса по какой-то им самим изобретенной методе, что-то шепча в лохматое ухо.

Бишка наконец глубоко вздохнул, расслабился, начал лизать руку хозяина. Вскочил. Миня следил за происходящим с некоторым удивлением.

Я думал, что Вилли не вернется к затронутой теме.

– Не пойди я в свое время работать в ИНО, – сказал он, поднимаясь и стряхивая с колен еловые иглы, – был бы я сегодня художником. – И добавил, осклабившись: – Членом Академии...

Почему Вы не стали художником, а стали шпио-

ном? Ведь трудно было придумать менее подходящее для Вас занятие?

В чем был глубокий смысл Вашего провала в Америке? В чем заключалась „проверка Шведа" – или помощь ему?

Зачем затеяна сегодня громоздкая и, надо полагать, очень важная для Москвы возня с „третьей эмиграцией"?

Какова новая роль разведки в современном мире?

Как было бы хорошо обсудить с Вами эти вопросы, дорогой Вилли. Вы поначалу заворчали бы, говоря, что я как всегда, фантазирую, а потом, глянь, как это подчас бывало, и сказали бы что-нибудь.

Под конец Вашей жизни мне, кажется, удалось помочь Вам кое в чем разобраться. Согласитесь, Вы ушли из жизни уже не тем твердокаменным большевиком, которым воспитал Вас когда-то в Англии Генрих Матвеевич Фишер.

За психологический сдвиг, позволивший Вам сказать – „остается только взять веревку и удавиться", – я охотно принимаю благодарность.

А Вам еще спасибо за то, что научили меня простой истине: хотя она и помогает кое-что яснее видеть, разведка – „не для белого человека", как Вы любили говорить. Немного в ней покрутиться, может быть, даже полезно, но посвящать ей жизнь не стоит. Не только потому, что легко ненароком сделать гадость, но еще и потому, что работа в ней деформирует характер, искажает человеческие чувства и отношения. Вы не были созданы, чтобы жить без человеческих чувств. Ваша дружба с бруклинскими художниками, Ваша дружба с Рудольфом, наши с Вами тридцать лет дружбы – тому доказательство.

Справедливо, или по крайней мере естественно, что взлетом Вашей карьеры разведчика оказался провал, исполнение роли героического, бесстрашного и холодно-расчетливого полковника Абеля, выдуманного руководителя уже несуществующей резидентуры!

Проживи Вы чуть-чуть дольше, дождись Вы моего возвращения из Монголии, когда я, наконец, это высчитал и понял, я бы всласть подразнил Вас намеками на Вашу историю. А потом, возможно, мы вместе посмеялись бы над ней. Не привелось!

Еще раз спасибо за все. И возможно, до скорого!

Ваш

Кирилл Хенкин

В. Г. Фишер
(16-ти лет, в Англии)

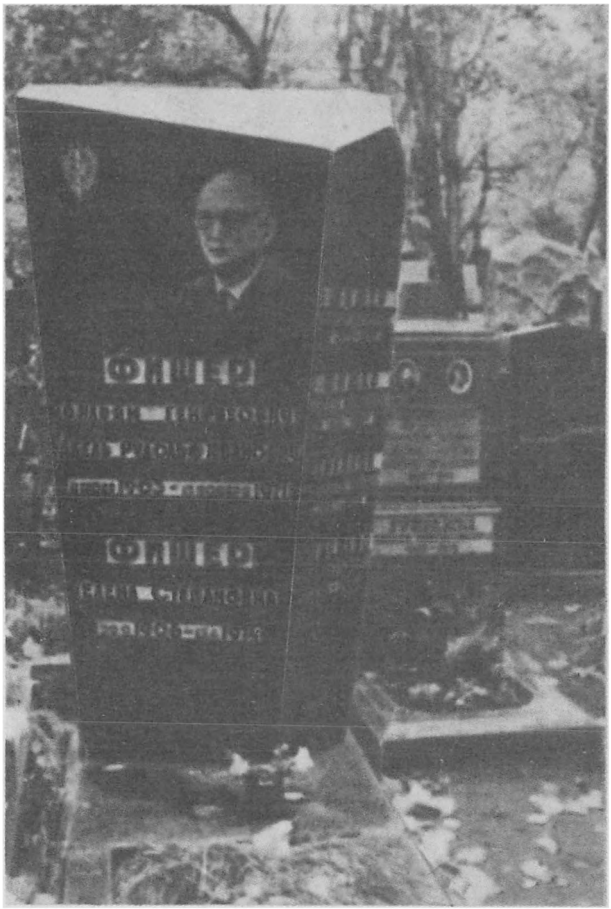
В. Г. Фишер
(в форме капитана
Г. Б. во время войны,
в Москве)

Подмосковная дача Фишеров до перестройки

Дорогой Кирилл!
Поздравляем Вас и Вашу жену
с Новым Годом, теплом счастья,
здоровья, успехов, благополучия
и исполнения всех желаний

Фишеры

Новогодняя открытка с рисунком
Р. Абеля (В. Фишера)



Посмертное раскрытие псевдонима

ОГЛАВЛЕНИЕ

	А. Зиновьев. Эффект системности	1
1.	Я не забыл моего друга Абеля, но и мне его не забывают	7
2.	Абель проверял „Шведа"	15
3.	Мой учитель шпионских наук	23
4.	„Где так вольно дышит человек..."	39
5.	Бессмертный князь Потемкин-Таврический	45
6.	Как становятся шпионом	52
7.	„Эта работа не для вас!"	62
8.	Москва, Всесоюзное радио	68
9.	„Не забывай, что мы немцы..."	85
10.	Homo sovieticus	98
11.	Зачем надо ехать в Америку	113
12.	От Фишера до Гольдфуса	123
13.	Шпион спешит вернуться в холод	131
14.	Доктор Джекиль и мистер Хайд	145
15.	Желанный арест	159
16.	„США против Абеля"	177
17.	Проверка „Шведа"	191
18.	Нужны ли Абели сегодня?	225
19.	Не всяк герой, кто смел	242
20.	Соучастие	251
21.	„Папку выгнали!"	260
22.	Памятные поминки	268
23.	„В борьбе обретешь ты право свое"	276
24.	Отъезд или петля?	288
25.	Надо ли торговаться с КГБ?	292
26.	Дважды эмигрант Советского Союза!	295
27.	Участники великого обмана	300
28.	Без Вилли не разобраться!	305

Хенкин Кирилл

ОХОТНИК ВВЕРХ НОГАМИ

Редактор *С. Кондратов*
Художественный редактор *И. Сайко*
Технический редактор *Р. Смирнова*

Подписано в печать 24.05.91. Формат 70x100/32. Бумага офсетная. Печать офсетная. Усл.печ. л. 12,9. Усл.кр.-отт. 12,9. Уч.-изд.л. 12,7. Тираж 50 000 экз. Заказ 696. Цена 12 руб.

Ассоциация совместных предприятий, международных объединений и организаций. Издательский центр «ТЕРРА». 109280, Москва, Автозаводская ул., д. 10, а/я 73.

Отпечатано на Можайском полиграфкомбинате В/О «Совэкспорткнига» Государственного комитета по печати. 143200, Можайск, ул. Мира, 93.